В106 1269

БОЕВАЯ ЭСТРАДА

·ИСКУССТВО·

ОИК

Песен.

В106 1269

БОЕВАЯ ЭСТРАДА

СБОРНИК
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ
БРИГАД И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИСКУССТВО“
МОСКВА 1943 ЛЕНИНГРАД

Разрешено Гурк за № 502/42-ло

ОТ РЕДАКЦИИ

В сборник «Боевая эстрада» вошли произведения, исполнявшиеся на советской эстраде с 1917 по 1942 год.

Перед редакцией стояла сложная задача: отобрать произведения, которые, во-первых, являлись бы наиболее типичными для эстрады своего времени, и, во-вторых, были бы созвучны современности, не утеряли бы своего интереса для исполнения на эстраде в период Великой Отечественной войны. Именно сложностью этой задачи и объясняется некоторая неполнота в подборе представленного материала.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

774949 N

ГПИБ России

10051158

**
*

Если вождь зовет,
рука, на винтовку ляг.
Вперед за взводом взвод!
Громче печать — шаг.

В. Маяковский

Отчизна моя — это солнце веков,
На камне взрастающий колос,
Отчизна моя — это Ленина зов
И Сталина голос.

Максим Рыльский

Республика,
с тобой грозят
расправиться жестоко!
Работай так,
чтоб каждый пóтом вымок...
Крепите оборону,
инженер и токарь.
Крепи, шахтер,
газетчик,
врач
и химик!

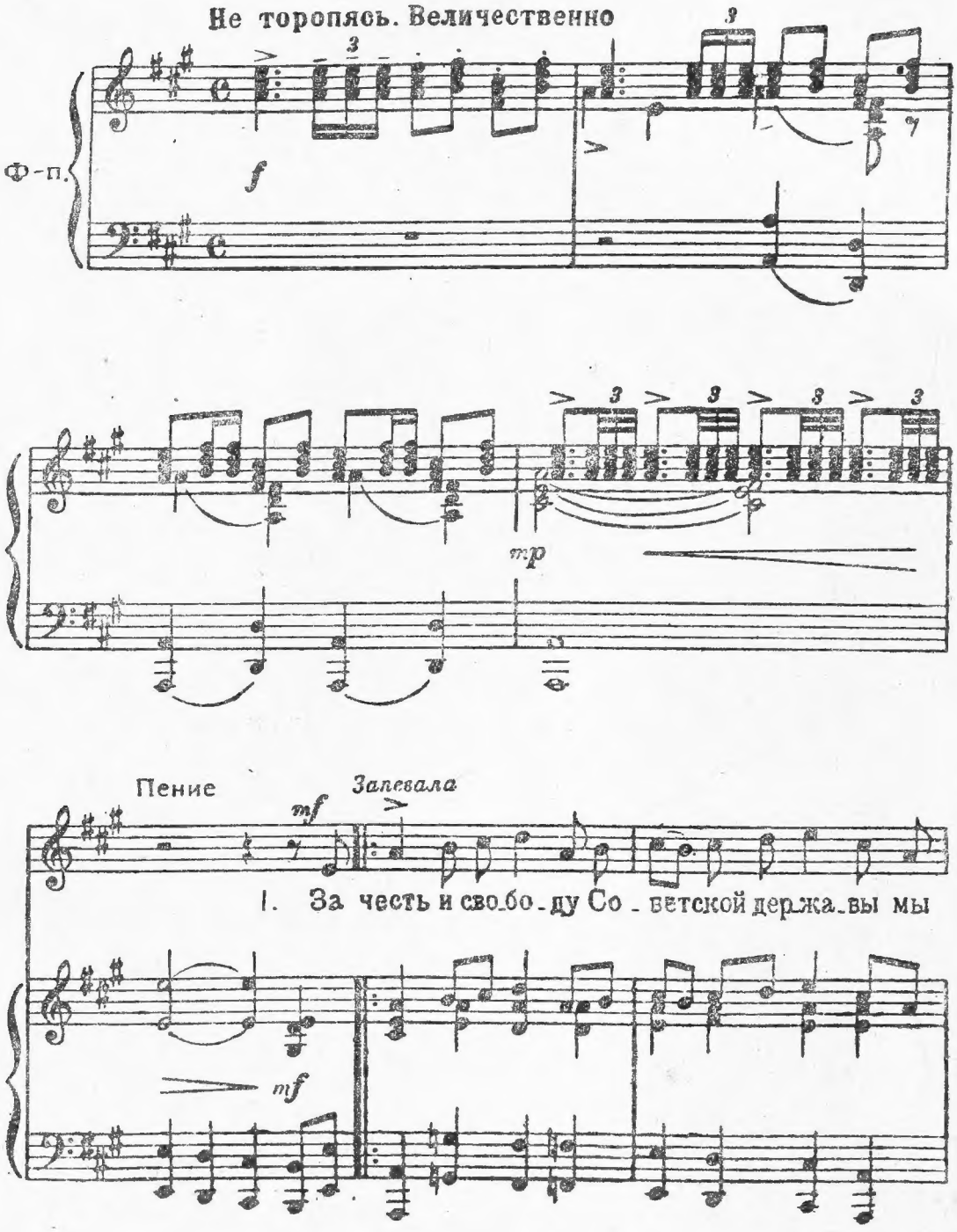
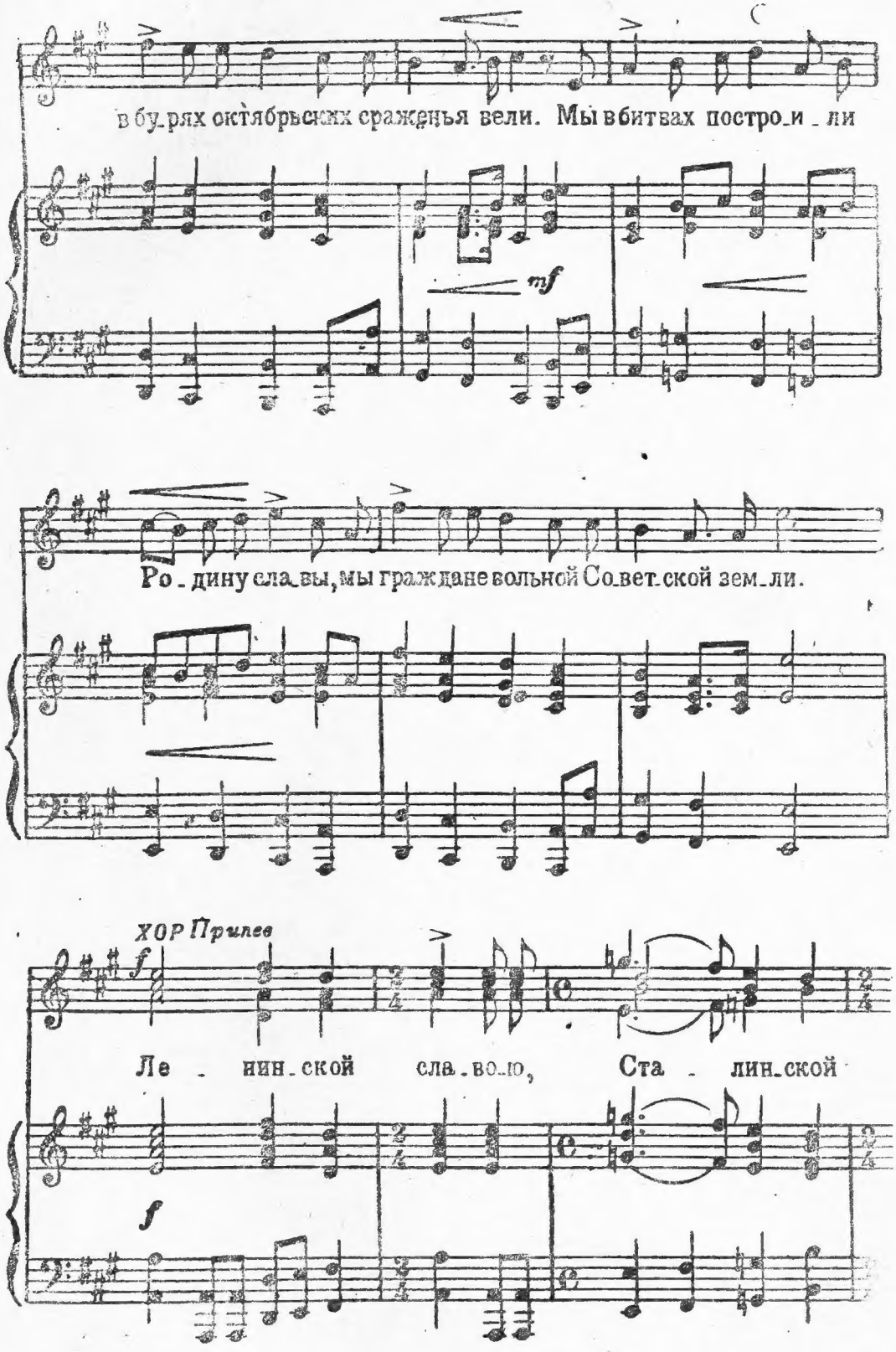
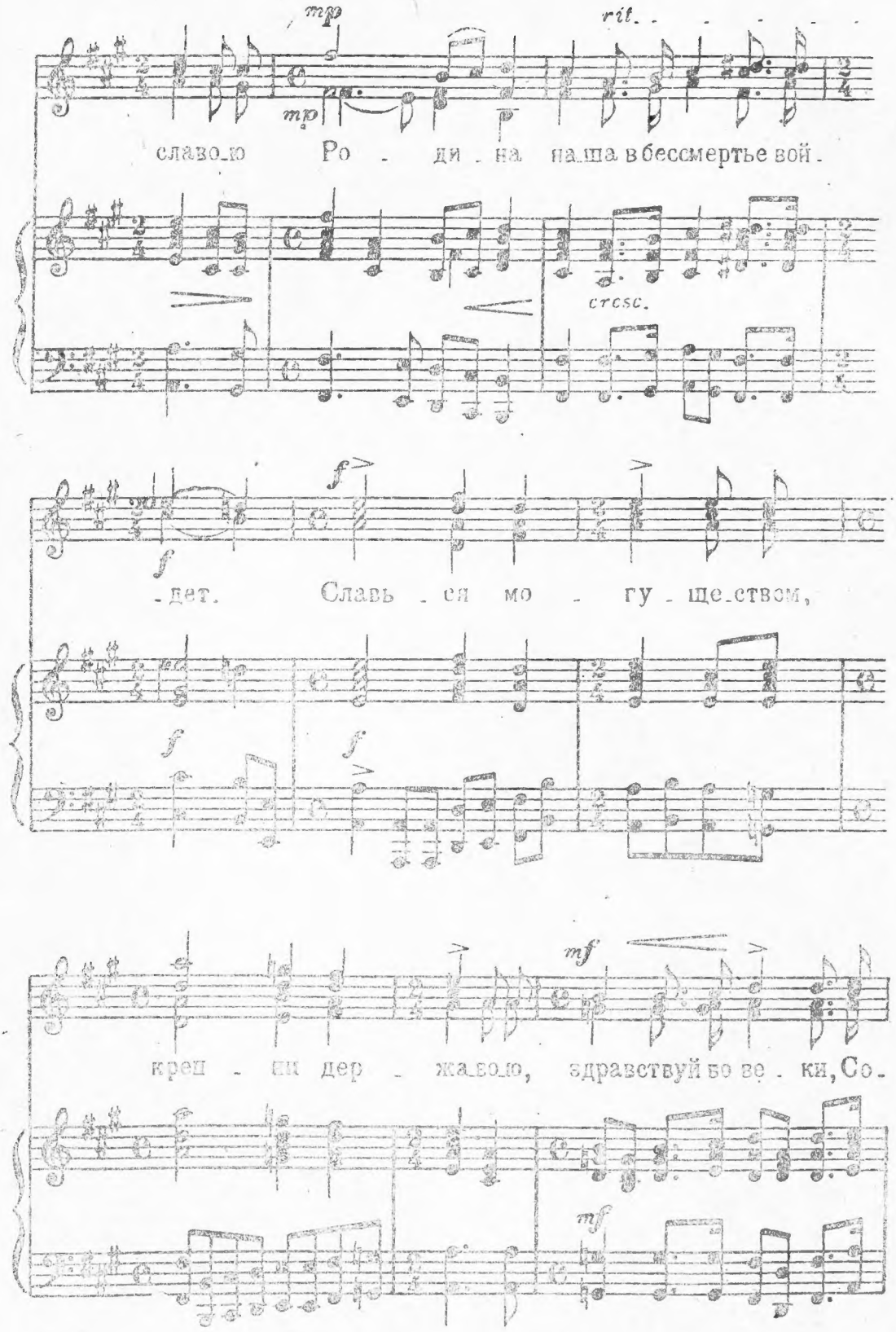
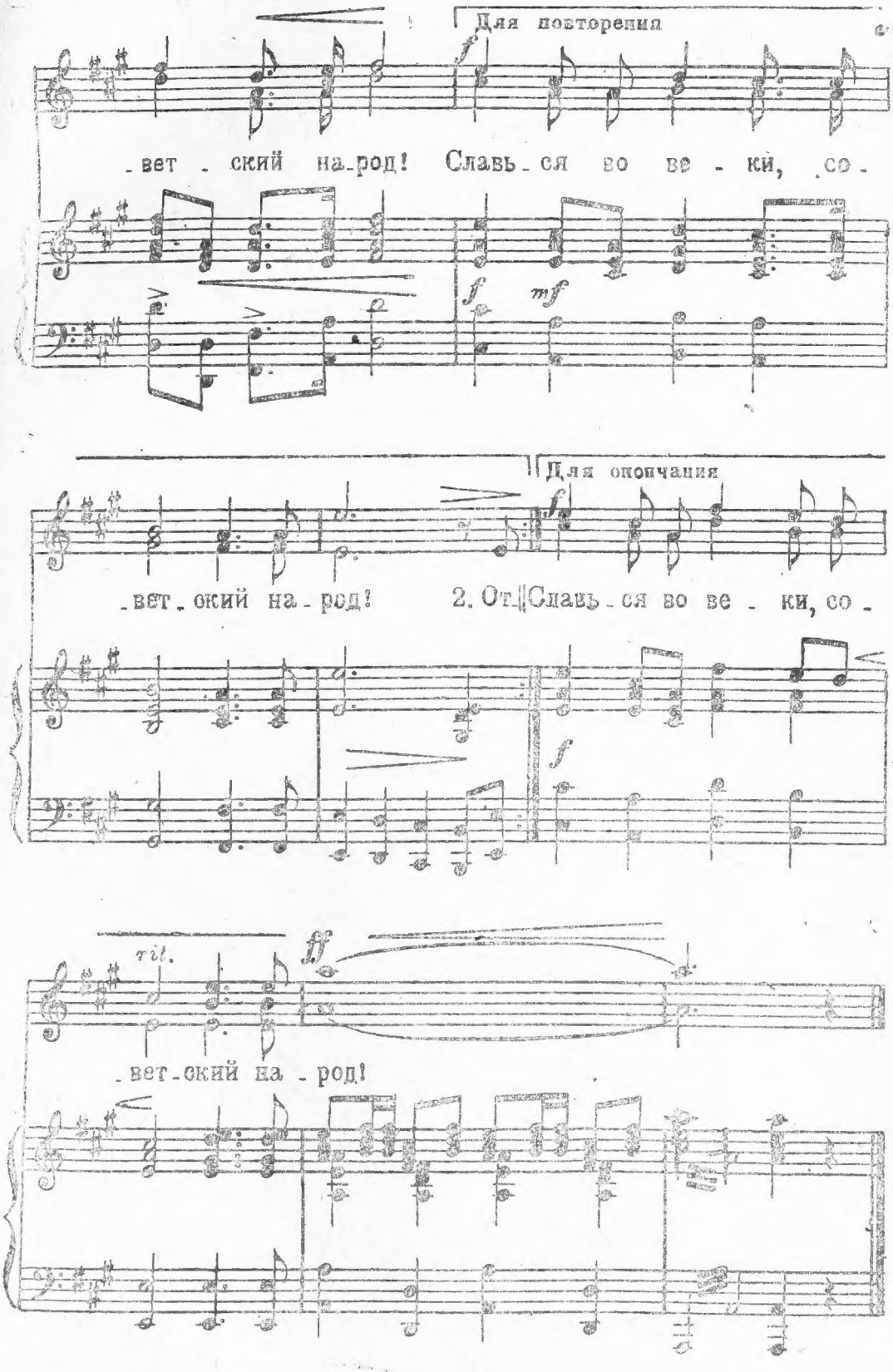
В. Маяковский

**
*

Наш девиз: «Победа или смерть!»
Намертво отточены штыки.
В битве нас врагу не одолеть.
Мы — гвардейцы!
Мы — большевики!

(Из походной песни панфиловцев)

ПЕСНЯ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Слова *М. Голодного* Муз. *А. В. Александрова*

в бу_рях октябрьских сраженья вели. Мы в битвах постро_и_ли
mf
Ро_дину сла_вы, мы граждане вольной Со_вет_ской зем_ли.
ХОР Прилеп
f
Ле_нин_ской сла_во_ю, Ста_лин_ской
f

mp
mp
rit.
славою Ро - ди - на наша в бессмертье вой -
cresc.
f
f
- дет. Славь - ся мо - гу - ще - ством,
f
f
mf
крепи - ми дер - жа - вою, здравствуй во ве - ки, Со -
mf

Для повторения
f
-вет - ский на-род! Славь-ся во ве - ки, со -
f mf
Для окончания
f
-вет-ский на-род! 2. От Славь-ся во ве - ки, со -
f
rit.
ff
-вет-ский на-род!

За честь и свободу Советской державы
Мы в бурях октябрьских сраженья вели.
Мы в битвах построили Родину славы,
Мы граждане вольной Советской земли.

Припев:

Ленинской славою, сталинской славою
Родина наша в бессмертье войдет.
Славься могуществом, крепни державою,
Здравствуй во веки, советский народ!

(2 раза)

Отчизну хранить завещали нам деды.
Россия республикам стала сестрой.
Советы нам стали оплотом победы,
И крепче гранита незыблемый строй.

Припев.

Могучей семьей побеждаем и строим
Под знаменем партии большевиков.
Народу-гиганту, народу-герою
Враги не навяжут позорных оков.

Припев.

Едина народов семья трудовая,
Едина, как солнце в просторах времен,
Едина, как Ленина правда живая,
Едина, как Сталина мудрый закон.

Припев.

Великой страной управляем мы сами,
Рабов у нас нет, не потерпим господ.
Заря коммунизма восходит над нами,
И горе тому, кто на нас посягнет!

Припев:

Ленинской славою, сталинской славою
Родина наша в бессмертье войдет.
Славься могуществом, крепни державою,
Здравствуй вовеки, советский народ!

(2 раза)

Джамбул

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Я говорю: «СССР» — и блещет синева озер,
Лежат ковры душистых трав в алмазных росах при восходе.
Поют по рощам соловьи, горят, как жемчуг, выси гор,
И зори, яхонтов нежней, невольно мне на ум приходят.

Обильна родина моя! Тучнеют сытые стада,
Всесветна слава табунов, не счесть отар, что степью бродят.
В полях — зерно, в садах — плоды, в земле — чудесная руда.
Богатства юрт и городов невольно мне на ум приходят.

Народы родины моей живут, как дружная семья.
Десятки братских языков журчат ручьями на свободе.
Я чувствую кипенье сил и вдохновенье соловья,
И песня дружбы всех племен невольно мне на ум приходит.

Я в детстве раннем кочевал полынной степью ханских орд.
Как надмогильные холмы, серели нищие аулы.
На хане царь сидел верхом, а хан, от этой чести горд,
Народ ногами попирал,— и это освящали муллы.

В песках пустыни умирал мой обездоленный народ,
В глухой и душной темноте — без прав, полунагой и босый.
Текла по родине река из горьких человечьих слез.
На каменистом пустыре, хирея, осыпалось просо.

Я лишь семидесяти лет увидел солнечный восход
И, сразу просветлев душой, запел на старость не в обиде.
Увидел я, как разметал врагов разгневанный народ.
Я гений Ленина узнал и гений Сталина увидел.

Высок Кавказ. В седых снегах наш Ала-Тау — исполин.
И Крым, увенчанный чалмой жемчужных туч, уперся в небо.
Но Ленин выше снежных гор, и Сталин выше всех вершин,
Без них, двух гениев земли, родной народ счастливым не был.

Они связали, как друзей, простор степей и ширь тайги,
Неву сроднили с Иртышом, Байкал и Балтику сдружили,
Сказали людям всех племен — где их друзья и где враги,
И, массы в битву поведя, союз народов утвердили.

Горит в цветах моя земля. Поет, ликуя, мой народ.
Одиннадцать свободных стран узнали счастье мирной жизни.
В песках пустынь звенит арык, и степь, как сад, весной цветет,
И радуги семи морей зажгли сиянье по отчизне.

Я говорю: «СССР» — и золотой встает Алтай,
И Каспий вдребезги дробит светлозеленые громады,
И льдами Арктика шуршит, растит леса Карельский край,
И склоны Грузии дарят народам гроздья винограда.

Я вижу груды серебра и слитки золота горой,
Фонтаны нефти и зерно, и уголь — до сиянья черный,
И самолеты над землей, и поезд, мчащийся стрелой,
И караваны мудрых книг, и труд — веселый и упорный.

Я вижу праздники весны, джигитов в шелке и парче,
И стройных девушек страны в серебряных, как снег, нарядах.
Я вижу зданья светлых школ и блеск театров средь ночей.
И радостную жажду знать читаю я у всех во взглядах.

Я вижу дружбу меж людей всех языков и всех племен,
И вместе с ними я врагов с великой страстью ненавижу.
В движеньи мыслей и машин, в стремленьи быстрых веретен,
В садах, цветущих на земле, в полях, где голубеет лен,

В декрете, изданном в Кремле, что к нам любовью окрылен,
В стальном, летящем в высь орле, что озирает небосклон,—
Во всех деяниях страны родного Сталина я вижу.
Мне девяносто третий год. Лета, как горы, высоки.

В степях и городах страны я не встречал акынов старше.
И старым сердцем слышу: там, где люди пели от тоски,
Теперь по всей моей стране гремят торжественные марши.
Прислушайтесь! Поет страна. Поет народ. [illegible] хор

Поют свободною волной, как в море реки, все наречья.
И славят сталинский закон и славят солнечный простор.
Цветенье сил, свободный труд, любовь и счастье человечье.
Поет страна. И [illegible] до неба здравицу вознес,

Как будто [illegible] майский гром, легко откатываясь в даль,—
Живи, родной СССР, средь волн стоящий, как утес!
Живи, любимый наш отец, великий мастер счастья, Сталин!

Валерий Брюсов

СЕРП И МОЛОТ

Пусть гнал нас временный ущерб
В тьму, в стужу, в пораженья, в голод:
Нет, не случайно новый герб
Зажжен над миром — Серп и Молот.

Мы землю вновь вспоим трудом,
Меч вражий будет вновь расколот:
Не даром мы, блестя серпом,
Взметнули дружно мощный молот.

Но смело, мысль, в такие дни
Лети за грань, в планетный холод.
Вселенский серп, сев истин жни,
Толщь тайн дроби, вселенский молот!

Мир долго жил! Довольно лжи!
Как в осень, плод поспелый золот!
В единый сноп, серп, нас вложи,
В единый цоколь скуй нас, молот!

Но вечно светом вешних верб
Дух человека свеж и молод.
Точи для новой жатвы серп,
Храни для новой битвы молот.

1921 г.

Николай Тихонов

СОВЕТСКИЙ ФЛАГ

Флаг, переполненный огнем,
Цветущий, как заря,
И тонким золотом на нем
Три доблести горят:
То молот вольности труда,
Серпа изгиб литой,
Пятиконечная звезда
С каймою золотой.

Был побежден народный враг
Народною рукой,

И сто народов этот флаг
Взвивают над собой —
На самой высшей высоте,
На самой дальней широте,
Среди полей и городов,
Меж волн бесчисленных рядов.
В нем — человечеству привет,
И проще в мире флага нет,
В нем нашей славы жаркий цвет,
И жарче в мире флага нет,
В нем нашей силы грозный свет,
Сильнее в мире флага нет,
В нем правда наших красных лет,
Правдивей флага нет!

Валерий Брюсов

ЛЕНИН

Кто был он? — Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.

Октябрь лег в жизни новой эрой,
Властней века разгородил,
Чем все эпохи, чем все меры,
Чем Ренессанс и дни Атилл.

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;
Мир новый — общий океан —
Растет из бурь октябрьских: Ленин
На рубеже, как великан.

Земля! Зеленая планета!
Ничтожный шар в семье планет!
Твое величье — имя это,
Меж слав твоих — прекрасней нет!

Он умер; был одно мгновенье
В веках; но дел его объем
Превысил жизнь, и откровенья
Его — мирам мы понесем!

1924 г.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой,
Когда
над миром
вырос
Ленин
огромной головой.
И земли
сели на оси.
Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хаосе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи,
Встал
горой мускулистой.
Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем, кого мести!
Ноги знают,
чьими
трупами
им итти.
Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.
Пожарами землю дымя,
везде,
где народ испленен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!
И это —
не стихов вееру
обмахивать высокий уют. —
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода ВКП.

ИСПОЛИН ВЕКОВ

Хвала и честь! Хвала большевикам!
Твоим товарищам! Твоим ученикам!
Твоим народам и твоим войскам!
Мы, люди гор, поем тебе привет,
Великий Ленин, равный облакам!
Хвала и честь! Хвала тебе стократ,
Делам и государству твоему!
Великий Ленин, ты наш вождь и брат,
Ты основал советскую страну!
Великий Ленин, наш отец и друг,
Ты снял, ты сбил оковы с наших рук,
Ты распахал большую целину!
Великий Ленин, Ленин, наш отец!
Ты, засучив по локоть рукава,
Шел впереди, как непреклонный жнец,
И враг упал, как сжатая трава!
Послушайте, что Ленин говорил:
«Я с юности был другом бедняков».
Ты нам все двери мира отворил,
Великий Ленин, исполин веков!
Вот наша конница стучит вдали,
Вот наши самолеты говорят.
К тебе идут со всех концов земли,
К тебе спешат со всех концов земли,
Перед тобой склоняется весь мир,
Великий Ленин, ты наш вождь и брат!

(Перевод с таджикского)

Максим Рыльский

ЛЕНИН

С жестом простым и суровым,
С лаской в глазах неизменной
Неувядаемо новым
Встал он над ржавой вселенной.

Да, он титан, и рассеял,
Сбросил «титанов» с их тронов,
Только взглянул — и развеял
Прах омертвелых законов.

Да, он титан, и на крови
Битв, где столкнулись две силы,
Здание радостной нови
Воля его заложила.

Этот порыв непреклонный,
Сила вот эта — откуда?
Мозг его — это мильоны
Мыслей рабочего люда.

Нищим, безродным, голодным
Слово его — не затмится!
И маяком путеводным —
Взмах огненосной десницы.

ДВА СОКОЛА

На дубу зеленом
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.

А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.

Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
А кругом летали
Соколята стаей.

Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался:

«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,
Все труды-заботы
На тебя ложатся».

А другой ответил:
«Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги!»

И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

Микола Бажан

ТОВАРИЩ СТОИТ В ЗВЕЗДОНОСНОМ КРЕМЛЕ

Товарищ стоит в звездоносном Кремле,
Товарищ в шинели простого покроя.
Знаком этот образ в степях, и в забое,
И в каждом жилище на нашей земле.

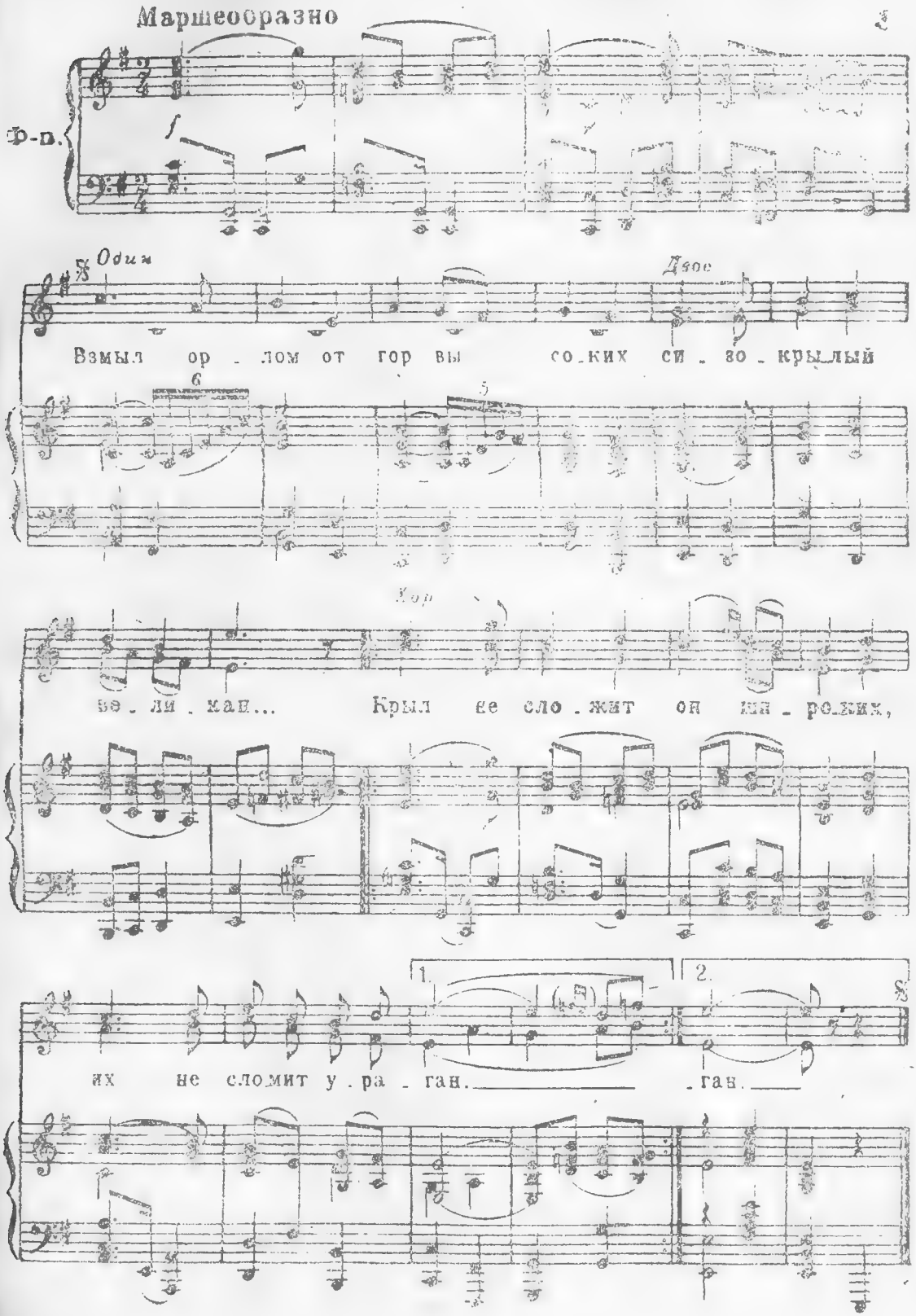
На севере, западе, юге, востоке,
Как знак, знаменующий большевика,
Знаком этот образ, вошедший в века,
Несомый в людском величавом потоке.

Страна моя! Ширится времени круг,
Что было мечтами — становится жатвой!
Он с нами, он рядом, великий вожатый,
Учитель и лучший, любимейший друг.

Как имя мильонов — звучит это имя,
В шесть букв воплотилось единство идей,
Единство идущих путями твоими,
Отчизна отважных и гордых людей.

Жить именем этим, как крепкий боец,
И прочь крохоборство, на доли не мерьте!
Стране отдадим — не обрывки сердец,
А всю полноценность и жизни, и смерти!

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

Слова *М. Рыльского* Музыка *Л. Ревуцкого*

Взмыл орлом от гор высоких
Сизокрылый великан...
Крыл не сложит он широких,
Их не сломит ураган.

Тянет солнце нас к вершинам,
Не робеем мы ничуть...
Лётом солнечным, орлиным
Вождь указывает путь.

Будь прославлена певцами,
Мать-отчизна, в этот час!..
Слово Сталина меж нами,
Воля Сталина средь нас!

Нам покорны стали воды,
В ноги нам легли поля,
Созидаются заводы,
Обновляется земля!

В нашей армии единой
Большевистский дух живет.
Мыслью сталинской, орлиной
Мудрый вождь нас всех ведет.

Яркокрасными огнями
Нам сияет новый час...
Слово Сталина меж нами,
Воля Сталина средь нас!

М. Горький

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,— стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает.

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют.

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

М. Горький

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

I

Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил... Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко... Эх, ты, бедняга...

— Ну, что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном, и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться! Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью! О, счастье битвы!

А Уж подумал: «должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице: — «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.

Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь еще немного в твоей стихии».

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря, с печальным ревом о камень бились... И трупа птицы не видно было в морском пространстве...

II

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть не надолго.

Сказал — и сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может! Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденьи! Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..

Демьян Бедный

МАНИФЕСТ БАРОНА ФОН ВРАНГЕЛЯ

Ихь фанге ан. Я нашинаю.
Эс ист для всех советских мест,
Для русский люд из края в краю
Баронский унзер манифест.

Вам мой фамилий всем известный:
Ихь бин фон Врангель, герр барон.
Я самый лючший, самый шестный
Есть кандидат на царский трон.

Послюшай, красные зольдатен:
Зашем ви бьетесь на меня?
Правительств мой — все демократен,
А не какой-нибудь звиня.

Часы с поломанной пружина —
Есть власть советский такова.
Какой рабочий от машина
Имеет умный голова?

Какой мужик, разлючный с полем,
Валяйт не будет дурака?
У них мозги с таким мозолем,
Как их мозолистый рука!

Мит клейнем глюпеньким умишком
Всех зогенаннтен простофиль
Иметь за власть?! Пфуй, это слишком!
Ихь шпрехе пфуй, дас ист цу филь.

Без благородного сословий
Историй русский — круглый нуль.
Шлехьт. Не карош порядки новий!
Вас Ленин ошень обмануль!

Ви должен верить мне, барону.
Мой слово — твердый есть скала.
Мейн копф ждет царскую корону,
Двухглавый адлер — мой орла.

Святая Русслянд... гейлих эрде...
Зи лигт им штербен, мой земля.
Я с белый конь... фом вейсен пферде...
Сойду цум альтен стен Кремля.

И я скажу всему канальству:
«Мейн фольк, не надо грабежи!
Слюжите старому начальству,
Вложите в ножницы ножи!»

Вам будут слезы ошень литься:
«Порядок старый караша!»
Ви в кирхен будете молиться
За мейне руссише душа.

Ви будет жить благополучно
И целовать мне сапога.
Гут!
«Подписал собственноручно
Вильгельма-кайзера слуга,

Барон фон Врангель, бестолковой
Антантой признанный на треть:
Сдавайтесь мне на шестный слово.
А там... мы будем посмотреть!!»

Баронскую штучку списал и опубликовал
Демьян Бедный

Южный фронт.
5 октября 1920 г.

РАБОТА

Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом:
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета,—
Часы за упорным трудом!

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

На фабрике, в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней,
Заполни, с лицом непреклонным,
Свой день, в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Иль — согнут над чистой страницей,—
Что сердце диктует, пиши:
Пусть небо зажжется денницей,—
Всю ночь выводи вереницей
Заветные тени души!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастет.
Что станет с плодами,— безвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падет на народ.

Великая радость — работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли — за трудом!

1917

Владимир Маяковский

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой,
землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма!

Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,—
телами рвы заполняли вы,
по трупам пройдя перешеек.

Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.

Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.

И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.

В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
Слава, слава, слава!

1921

Ник. Асеев

С НЕБА ПОЛУДЕННОГО

С неба полуденного
жара — не подступи.
Конная Буденного
раскинулась в степи.
Все, что мелкой пташкою
вьется на пути,
Перед острой шашкою
в сторону лети.
Не сынки у маменек
в помещичьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.
Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку,—
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.
Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.
Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.
Пусть уздечки звякают
памятью о нем,
так растопчем всякую
гадину конем.
Никто пути пройденного
назад не отберет,
Конная Буденного,
армия — вперед!

1922

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

. . . . . .

Билась
Советская
наша страна,
дни
грохотали
разрывом гранат.

Не для разбоя
битва зовет:
мы
защищаем
поля и завод.

Шли деревенские,
лезли из шахт,
дрались
голодные
в рвани
и вшах.

Серые шлемы
с красной звездой
белой ораве
крикнули —
стой!
Били Деникина,
били
Махно,
так же
любого
с дороги смахнем.

Хрустнул,
проломанный,
Крыма хребет.

Красная
крепла
в громе побед.

С вами
сливалось,
победу растя,

сердце —
рабочих,
сердце —
крестьян.

С первой тревогою,
с наших низов,
стомиллионные,
встанем на зов.

Землю колебля,
в новый поход
двинут
дивизии
красных пехот.

Помня
принятие
красных присяг,
лава
Буденных
пойдет
на-рысях.
Против
буржуевых
новых блокад

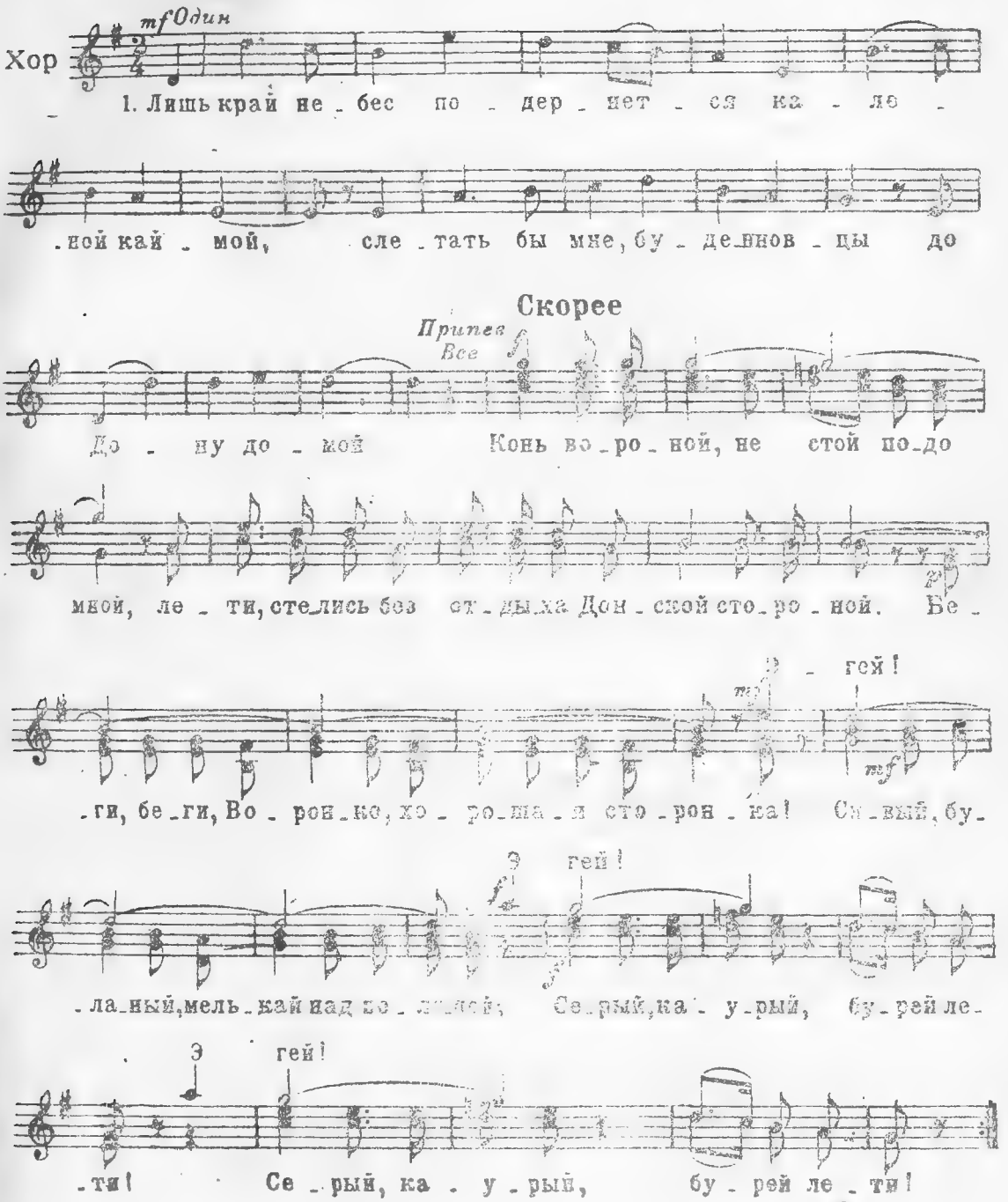
красные
птицы
займут облака.

Крепни
и славься
в битвах веков,

Красная
армия
большевиков!

1928

ПЕРВАЯ КОННАЯ

Музыка *А. Давиденко* Слова *Н. Асеева*

Лишь край небес подернется
Каленой каймой,—
Слетать бы мне, буденновцы,
До Дону домой.

Припев:

Конь вороной, не стой подо мной,
Лети, стелись без отдыха Донской стороной.
Беги, беги, Воронко, хорошая сторонка!
Сивый, буланый, мелькай над поляной;
Серый, каурый, бурей лети!
Серый, каурый, бурей лети!

Как низко звезды светятся
По-над головой,
Блестят над Усть-Медведицкой
И над Таловой.

Припев.

Не песней ли порадовать
Те славные дни —
К Царицыну, к Саратову
Походы, бои.

Припев.

Гляди, теперь просторные
Какие поля!
А было — под Касторной
Теснились, пыля.

Припев.

И помнят наши кони
Тот отблеск речной,
На саблях у Воронежа
В атаке ночной.

Припев.

А если вновь нацелится
В Коммуну гад,—
Опять ряды разделятся
Мастями бригад.

Припев.

Ты нам свою защиту,
Страна, поручи,
У нас удар рассчитан,
Клинки горячи!

Припев.

А. Фадеев

ТРЯСИНА

(Из романа «Разгром»)

...Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу, но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал — при вспышках бомб — бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. Вот от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница, видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая многоголовая лава людей и лошадей.

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину натолкнулся на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.

— Вот они, — облегченно сказал Левинсон. — Скорей по коням!

Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили — пулеметы затрещали им вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели, но отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу.

— Левинсон, смотри! — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо. Сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась им наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на одно мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.

— Скорей!.. Скорей!.. — кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца.

Наконец, они достигли опушки леса и спешились. Бакланов со взводом Дубова остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей.

В лесу было спокойней и глуше. Стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды.

Левинсон передал свою лошадь Ефимке, пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении итти, а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько у него осталось людей.

Они проходили мимо него, эти люди, придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту — под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо — почва была очень вязкая. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился...

— Что там случилось? — спросил он.

— Не знаю,— ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик.

— А ты узнай по цепи...

Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:

— ...Дальше итти некуда, трясина...

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото.

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья,— конечно же, это был Левинсон!.. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха — пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!..

И вдруг, он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо, со стиснутыми зубами, с большими горящими, круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое.

И в наступившей тишине, в которую врывались звуки смертельной игры, разыгравшейся там, на опушке леса,— его перв-

ный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех:

—Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать! — взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах. — Слушать мою команду! Мы будем гатить болото — другого выхода нет у нас... Борисов (это был новый командир третьего взвода), оставь поводырей и иди на подмогу Баклановy! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак, выдели трех человек для связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения — за лозняком! Не жалеть шашек!.. Все остальные — в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак! За мной!..— Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье.

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное, яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель. Взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка... Слышался грохот падающего дерева, и громадная ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темнозеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава.

Там, цепляясь за сучья, освещенные дымным пламенем, выхватывающим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей, в воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахшую лягушечьей икрой, воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери...

А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим слал людей и спрашивал: скоро ли? скоро?.. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекающего кровью, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати. Дальше отступать было некуда, неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько че-

ловек работающих было уже ранено. Варя делала перевязки. Наконец, партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать кончена, бросились бежать. Бакланов, с вьаливнимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства.

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние, обезумев, лезли на передних: гать трещала, разлезалась...

И все-таки отряд прошел через гать!

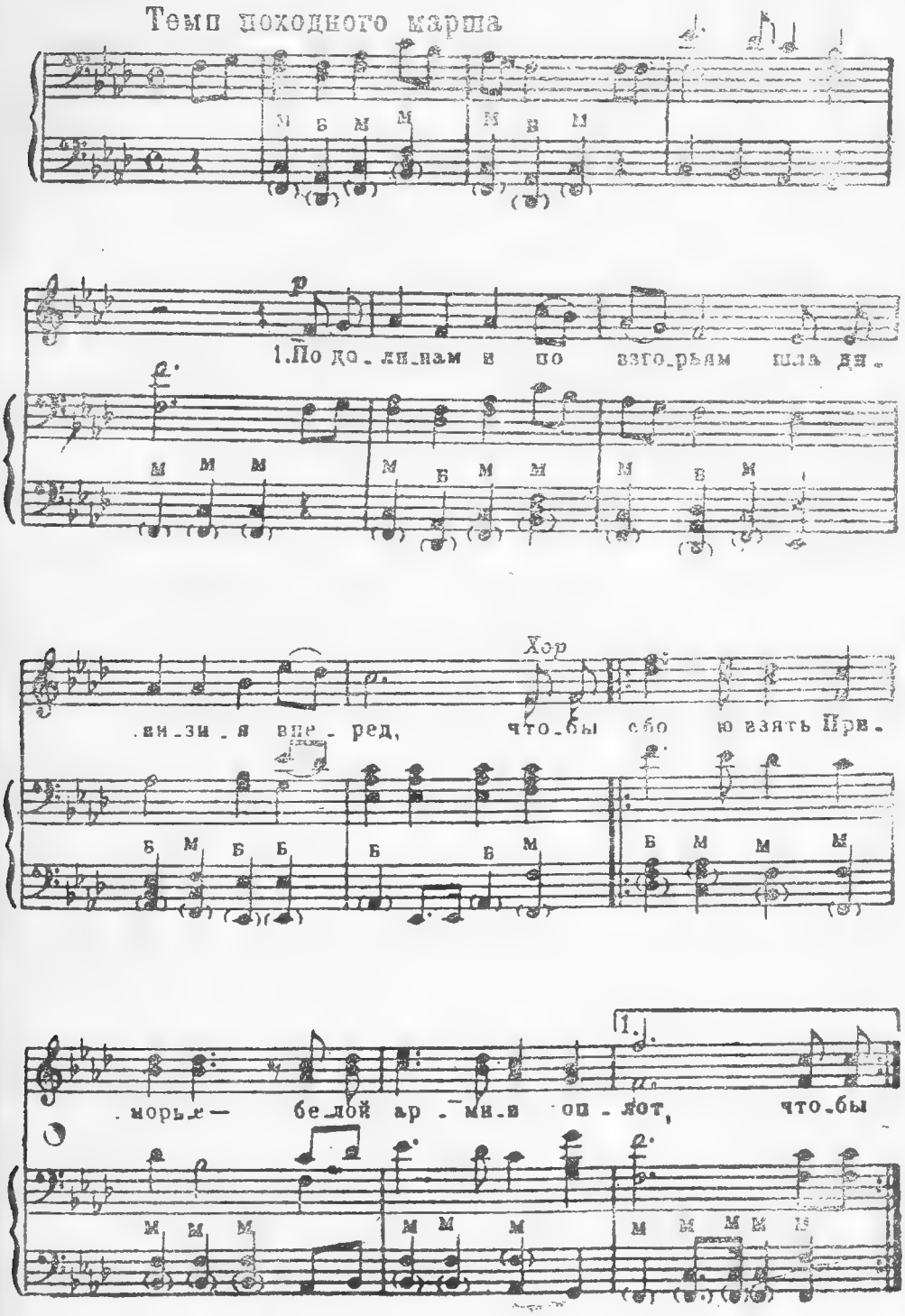
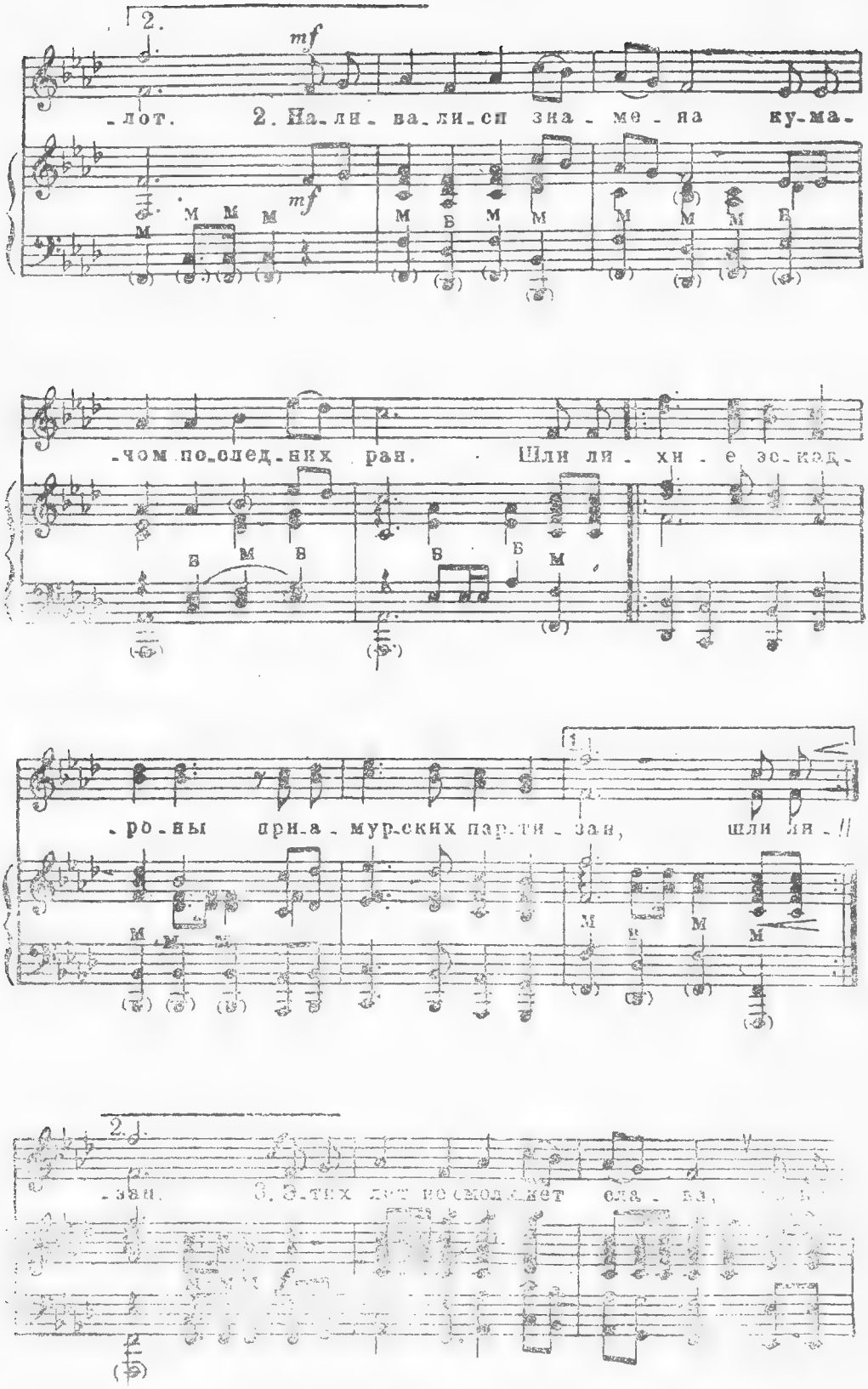
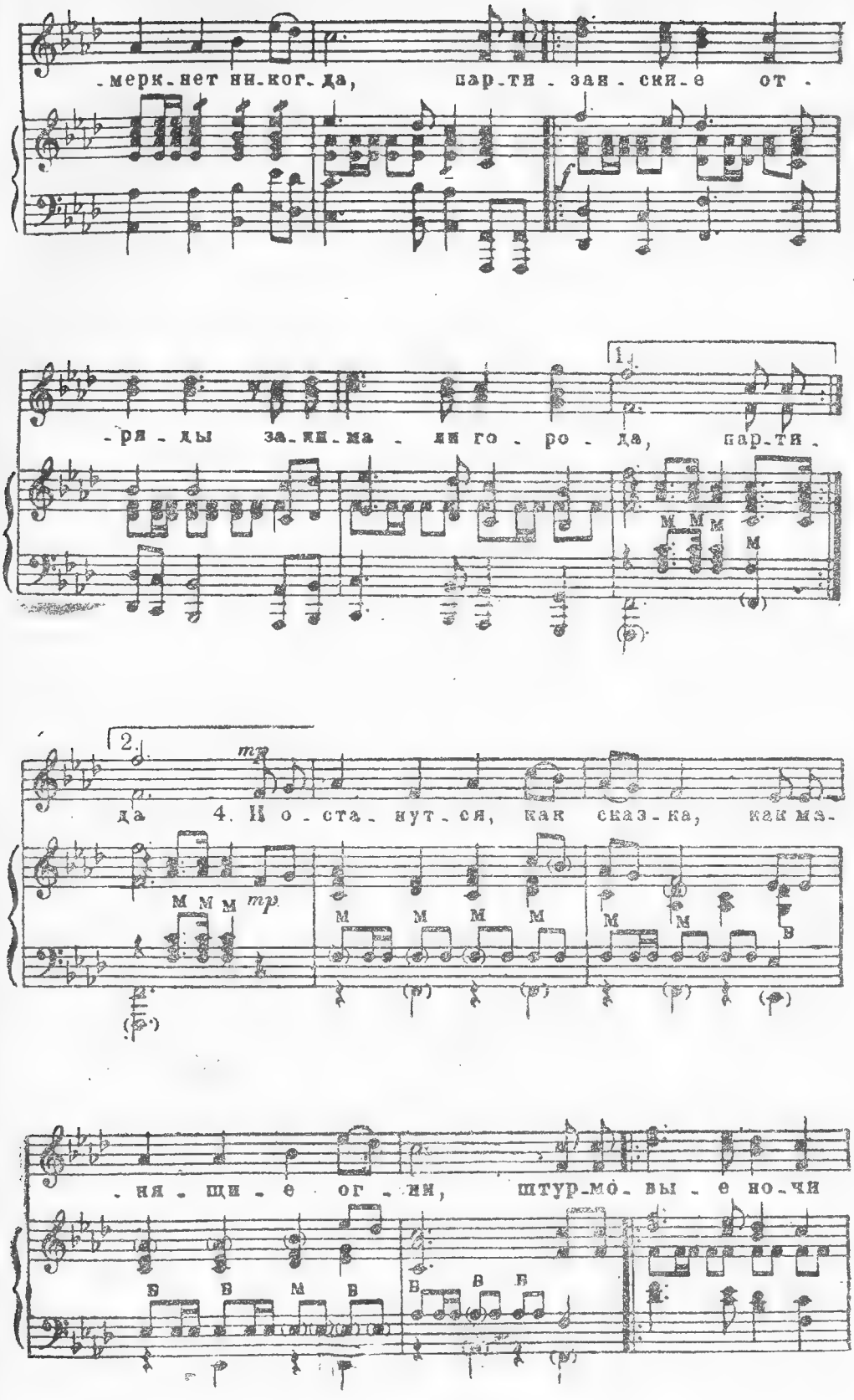
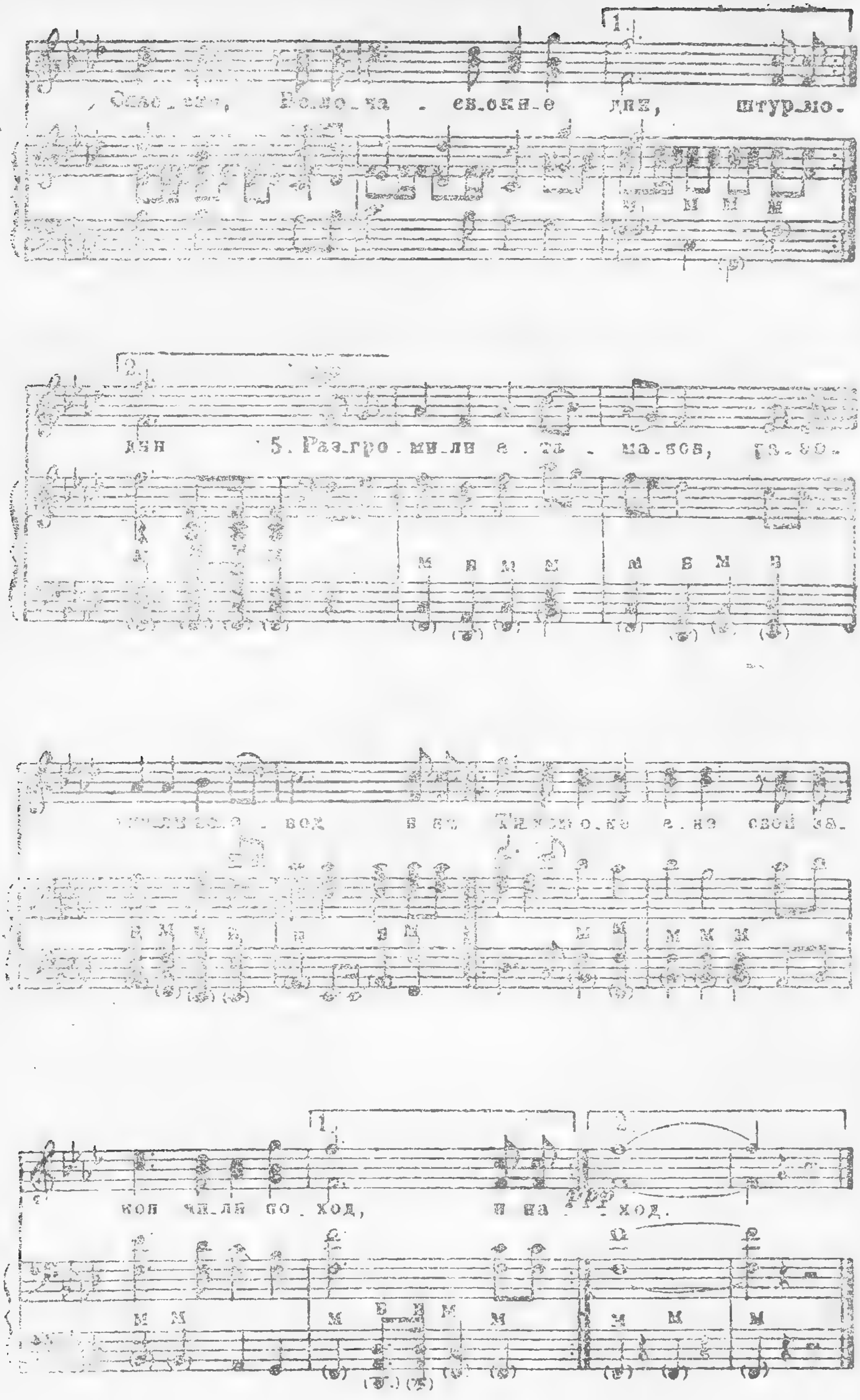
Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко.

Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетала на воздух...

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба, — чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные безмолвные, изуродованные руки, мокрых измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром, и удивились тому, что они сделали в эту ночь.

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ

Слова С. *Алымова*

Музыка *Атурова и Александрова*

2.
mf
-лот. 2. На-ли-ва-ли-сп зна-ме-на ку-ма-
-чом по-след-них ран. Шли ли-хи-е эс-кад-
-ро-ны при-а-мур-ских пар-ти-зан, шли ря-
-зан. 3. Э-тих лет не смо-жет сла-ть

-мерк-нет ни-ког-да, пар-ти-зан-ски-е от-
1.
-ря-ды за-ни-ма-ли го-ро-да, пар-ти-
2.
да 4. И о-ста-нут-ся, как сказ-ка, как ма-
-ня-щи-е ог-ни, штур-мо-вы-е но-чи

штур.мо.
5. Раз.гро . ми.ли а . та . ма.нов,
кон чи.ли по . ход,
ход.

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою взять Приморье —
Белой армии оплот.

Наливался знамена
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих лет не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города.

И останутся, как сказка,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ

(Отрывок из романа)

Василек пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел первым рассказать брату, как убили дядю Серегу, их соседа.

Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрей заперся в котельной и что его хотят убить. Мальчик с замирающим сердцем следил за попытками легионеров забраться в котельную.

Когда эти попытки провалились, радости его не было границ. Василек метался среди рабочих и, умоляюще глядя полными слез глазами, спрашивал знакомых кочегаров:

— Скажите, дядя, что они с ним сделают?

Кочегары хмуро отмалчивались. А один взял его за руку и отвел в сторону:

— Улепетывай отсюда, пока живой! Один уже достукался... Или хочешь, чтобы и тебе башку свернули под горячую руку?

Василек увернулся от него. Заливаясь слезами, опять побежал смотреть, что делают легионеры.

За тем, что происходило в котельной, наблюдали все рабочие, задержанные на заводском дворе. Отчаянная отвага одиночки, перед которой оказались бессильными вооруженные легионеры, покорила сердца. Сумрачные, измученные тяжелой работой люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забывать об этом ни на одну минуту. Теперь судьба Птахи глубоко тревожила всех. Восхищаться им стали открыто, особенно женщины. Послышались негодующие голоса:

— Стыдились бы, мужики, глядеть! Одного оставили на погибель...

— Больше с бабами воюете...

— Там они герои — бабам зубы выбивать...

Возбужденные криками женщин, гудком и всем происходящим, рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетьми.

Разъяренные рабочие стащили с лошади одного легионера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор.

Василек не находил себе места. Эту мятущуюся маленькую фигурку уже приметили легионеры.

— Эй, ты! Чего тебе здесь? Стой, пся твоя мать! Куда бежишь? — крикнул на него один. Василек нырнул в толпу и,

работая локтями и головой, забирался в самую гущу. Боясь, чтобы его не поймали, он убежал через служебный ход на угольный склад и тут только вспомнил о своей лазейке...

Добравшись до угольной ямы, Василек долго в темноте полз по углю, больно натыкаясь на камни коленями и головой, ища прохода к выемке и не находя его. Он был засыпан вновь привезенным углем. Тогда мальчик стал разгребать уголь, оттаскивая в сторону тяжелые куски. Один из них скатился назад и больно ударил его по босым ногам. Василек упал и долго плакал, но, наплакавшись, вновь принялся за работу. Он уже вырыл небольшую яму. Но разгребать становилось все труднее. Уголь приходилось таскать наверх и бросать подальше, чтобы он не катился на голову. Угольная пыль лезла в нос и глаза. Он чихал и отплевывался. Но углю конца не было видно. Василек подумал, что он не в том месте копает. Ему стало обидно и страшно. Он опять заплакал.

— Андрей, Андрю-ю-юшка!.. — закричал он изо всех сил.

Андрей подскочил, словно его ужалили.

— Тьфу, чорт! — Ему показалось, что где-то за спиной плачет Василек.

Птаха стоял в угольной яме, держал в руках карабин и не отрывал глаз от окон.

Брандсбойт лежал тут же, рядом. Пар, который чуть было не задушил его, медленно выходил через окна. В котельной было мрачно и душно.

Андрею иногда казалось, что все это — дурной сон. Уже прошло три часа, а его никто не выручал. И все, что он сделал, ни к чему. Его все равно возьмут и расстреляют. И никому до этого нет дела. Все в стороне, только он один, Птаха, должен положить свою голову!..

— Андрюшка! — где-то совсем близко кричал Василек.

Сверху скатился камень и больно ударил Андрея по плечу. Вслед за тем радостный крик: «Это я, Васька!» удержал Птаху от выстрела.

Настоящий, живой Василек спускался к нему. У Андрея застучали зубы при мысли, что он едва не застрелил его сейчас.

— Андрюшка, это я... Там их понаехало еще много... Целый двор на конях. И самый главный ихний... Тикай отсюда! Тут дыра есть... Я сквозь нее кажный раз лазал. Только сейчас угля насыпали доверху, я не мог пролезть! — кричал Василек в ухо брата, обнимая его.

Сердце Андрея заколотилось.

— Откуда ты залез сюда?

— С угольного двора.

— Там хода нету...

— А я через трубу. Она широкая! И ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем! Во их там наехало! Дед Остап говорит, что они тебя убьют!

Василек тянул Андрея к отверстию.

— Лезь, а я за тобой.

Василек покарабкался вверх. Птаха еще раз оглядел котельную, затухающие топки и полез за ним. Василек уже ожидал его там. Андрей осторожно взвел предохранитель и подал ему карабин. Затем, царапая плечи, втиснулся в трубу и, хватаясь руками за осыпающийся уголь, с большим трудом выбрался наверх.

Василек торопил его. Андрей схватился руками за тяжелую каменную глыбу и свалил ее в дыру. Мальчик помогал ему, руками и ногами сталкивая туда куски антрацита. Через минуту дыра была завалена.

Василек вел Андрея своими путями. Птаха с ужасом думал, что будет, если он не влезет в вентиляционную трубу. С огромным облегчением вздохнул он, когда вслед за Васильком просунул голову и плечи и стал медленно продвигаться вперед.

Когда они выбрались наверх, шел мелкий дождь. Угольный двор находился вне основной заводской территории, от которой он был отделен высокой каменной стеной.

Сюда шли подъездные железнодорожные пути.

Василек пошел на разведку. Скоро он вернулся и сообщил, что на путях никого нет.

— Там пустые вагоны стоят в три ряда. Под вагонами можно пройти, и никто не увидит. А около задних ворот никого нет. Их на замок закрыли. Мы на вагон влезем, а с вагона на ворота — и айда в поле! — говорил Василек в самое ухо Андрею.

Они сползли с угольной горы и, согнувшись, побежали между вагонами.

План Василька оказался прекрасным. Последний вагон стоял у самых ворот. Они перелезли через решетчатые железные ворота и бросились бежать по железнодорожному полотну.

Василек летел впереди, как птица, расставив руки и делая двухметровые прыжки. Он часто оглядывался, поспевает ли за ним брат. Андрей бежал что есть мочи. Дождь хлестал им в лицо. Низкие, тяжелые тучи заволокли все небо.

Андрей не бросал карабина. «Все равно убьют, если поймают. Так хоть порешу двоих под конец»,— думал он, не веря еще, что спасется. И только когда завод остался далеко позади

и подъездные пути стали поворачивать к вокзалу, Андрей остановился и, обессиленный, опустился на насыпь...

— Стой, Василек, не могу больше! — крикнул он и схватился рукой за сердце.

— Тикаймо, Андрюшка, тикаймо, а то догонят! — Боязливо озираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он зябко ежился от холода и испуга. Забрызганные грязью босые ноги его окоченели. Стоя на шпале, он тер нога об ногу.

Ему казалось, что Андрей сидит очень долго.

— Уже будет, Андрюшка, побежим!

Птаха устало повернулся, посмотрел на ноги Василька и на какое-то подобие фуражки, блином прилипшей к его голове, на всю его сгорбившуюся в три погибели фигурку в старой женской кофте, и острая жалость и горькая обида на собачью жизнь, при которой он не мог заработать даже на сапоги и одежду этому ребенку, сдавили ему горло.

«А теперь и куска хлеба не будет. И самому деваться некуда...»

— Андрюшка,— жалобно затянул Василек.

Андрей поднялся. Оттуда, где в густом тумане утонул завод, неслось грозное завывание гудка.

— Гудит,— с гордостью прошептал он, с наслаждением прислушиваясь к густому басу своего сообщника. И уже не побежал, а пошел быстрым шагом. Василек трусил мелкой рысцой рядом, поминутно оглядываясь.

С высокой насыпи Птаха увидал знакомый домик у водокачки и только теперь поверил в свое спасение.

— Василек, братишка! Пацанепок... Васька, стервец! Плевали мы теперь на них! А за тебя я еще рассчитаюсь... — Он обнял братишку, прижал его к груди. Благо не надо было скрывать слез. Кто рассмотрит их, когда дождь льет целыми потоками!

Николай Островский

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

(Отрывок из романа)

Композиция заслуженной артистки РСФСР
Н. И. Комаровской

В один из жарких дней Павка, прослонявшись по комнате, решил забраться на любимое местечко — на крышу сторожки, стоявшей в углу сада. Продравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке.

Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и, если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно которой выходило в сад и было видно с крыши.

Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу.

Павка увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади.

В открытое окно Павке была хорошо видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее.

Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным «маузером».

У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но, захлестнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый вороненый револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро, по-обезьяньи, на крышу, Павка оглянулся назад... В саду тихо... Он сполз с сарая и помчался домой.

Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила на Павку внимания.

Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь и, придерживая рукой

тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи помчался к старому, завалившемуся кирпичному заводу.

Ноги едва касались земли, ветер свистел в ушах.

У старого кирпичного завода все было тихо. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище.

Забравшись в пролом печи, Павка положил в уголок завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей, заметил их расположение и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.

Ноги в коленях чуть дрожали.

На электростанцию пришел раньше времени, чтобы только не быть дома. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал:

«Что теперь делается на даче Лещинских?»

Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:

— Почему у вас обыск был сегодня?

Павка испуганно вздрогнул.

— Как обыск?

Жухрай добавил:

— Ты не знаешь, чего они искали?

Павка хорошо знал, чего искали, но рассказать Жухраю о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:

— Артема арестовали?

— Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном. А в усадьбе был большой переполох.

Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал для объяснения адвоката. Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер мог украсть хулиган Павел Корчагин. Отец немедленно дал распоряжение вызвать наряд для производства обыска.

***

Неприглядная, нахмуренная ночь.

В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть себе голову.

Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет.

В такую ночь двигался человек.

Добравшись до домика Корчагина, он осторожно постучал в оконную раму и, не получив ответа, постучал вторично сильнее и настойчивее.

Павка во сне видит: на него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека не похожее; он пытается убежать, но бежать некуда, а пулемет страшно стучит.

Стекло дребезжит от настойчивого стука.

Соскочив с постели, Павел подошел к окну. Но, кроме неясного темного силуэта, ничего не увидел.

Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, а Артем кузнечил в соседнем селе. Стучать мог только Артем.

Павел решил открыть окно.

— Кто там? — бросил он в темноту.

За окном шевельнулась фигура, и придушенный бас ответил:

— Это я, Жухрай.

На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора.

— Я к тебе ночевать пришел. Принимаешь, братишка? — зашептал он.

— Ну, конечно,— дружески ответил Павел.— Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно.

Грузная фигура Федора втиснулась в окно.

Прикрывая его за собой, Федор не сразу отошел от окна.

Он стоял, прислушиваясь, и, когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу.

— Мы мамашу не разбудим?

Павел сказал Федору, что в доме, кроме него, никого нет. Матрос заговорил громче:

— За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому, конечно, с задворок, стал у сарая. Смотрю: в саду кто-то стоит, к дереву прижался, но штык выдал. Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возраженьев не имеешь? Ну и хорошо.

Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги.

Легли спать. Павел заснул сразу, а Федор долго курил. Заснул, побежденный усталостью, и рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольте.

Неожиданный приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих дней казались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими.

Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного, и Павел стал понимать,

что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов,— это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков.

Большой, сильный человек, обветренный морскими шквалами, балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жестокую правду жизни смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару.

— Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя,—говорил он.— Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня наружу непокорная натура. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот молод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щель, как тарахан от света, а бьет без пощады.

— Кто ты такой, Жухрай? — спросил его Павел.

Жухрай встал, засунул руки в карманы. Он сразу не понял вопроса.

— Разве ты не знаешь, кто я такой?

— Я думал, что ты большевик или коммунист, — тихо ответил Павел.

— Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик и коммунист одно и то же. — И он сразу стал серьезным. — Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?

— Понял,— твердо ответил Павел.

***

В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать.

Охваченный каким-то неясным предчувствием, прождав все утро, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, поворачивало вправо. На перекрестке у разгромленного киоска с перевернутой вверх ногами вывеской: «Продажа минеральных вод» Виктор Лещинский прощался с Лизой.

Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смотря в ее глаза:

— Вы придете? Не обманете?

Лиза кокетливо отвечала:

— Приду, приду, ждите.

И, уходя, улыбнулась ему обещающими глазами.

Пройдя десятск шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий с широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, в черной надвинутой на лоб кепке, с темносиним кровоподтеком у глаза.

В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец. Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного два узеньких настороженных глаза.

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел.

Увидев идущих, он остановился. Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая.

«Так вот почему он не вернулся!»

Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить и оформить. Одно было ясно: Жухрай погиб.

И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств.

«Что делать?»

В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер. Как только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому, с винтовкой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей. Крепко, до боли сжались зубы. Ведь только вчера Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная...»

Павел оглянулся. Улица, ведущая в город, была свободной. На ней не было ни души. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры.

Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов.

Вскинул на него одним глазом. Вздрогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка.

— Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! — взвизгнул конвоир.

Жухрай зашагал по шоссе.

Опасаясь привлечь внимание рыжеусого, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее.

Но голову сверлила тревожная мысль:

«Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может попасть в Жухрая...»

Разве можно было думать, когда петлюровец был уже рядом?

И случилось так: когда с Павлом поровнялся рыжеусый конвоир, он неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул ее к земле.

Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил, наваливаясь всем телом. Бабахнул выстрел.

От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая ему руки. Но Павел не выпускал винтовку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением свалил Павла на землю. Но и эта попытка не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвоира, и не было сил, которые заставили бы его выпустить винтовку в такую минуту.

В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив два свинцовых удара в лицо, петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву.

Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги.

М. Шолохов

ТИХИЙ ДОН

(Отрывок из романа)

Разошлись за полночь. На следующее утро порешили собраться обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чикамасов предложил ему ложиться с ним. Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил:

— Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй. У нас, дружок, вошки водются. Коли наберешься,— не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что прямо беда! Каждая с холмогорскую телку ростом.— Помолчав, тихонько спросил: — Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, уде он родился и произрастал?

— Ленин-то? Русский.

— Хо?!

— Верно, русский.

— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь, — с оттенком собственного превосходства пробасил Чикамасов. — Знаешь, каких он кровей? — Наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской,— понял? Служил

батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая,— как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза.

— Откуда ты слышал?

— Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать.

— Нет, Чикамасов! Он — русский, Симбирской губернии рожак.

— Не, не поверю. А очень даже просто — не поверю! Пугач из казаков! А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно. Все, какие беднеющий народ на царей подымали, — все из казаков. А ты вот говоришь — Сибирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое.

Улыбаясь, Бунчук спросил:

— Так говорят, что — казак?

— Он и есть казак; только зараз не объявляется. Я, как на личность глазами кину, — до разу опознаю. — Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул.— Диву я даюсь; и мы тут до драки спорили: ежли он, Владимир Ильич, — нашинский казак, батарсец, то откель он мог такую огромадную науку почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все науки прошел, да как начал ихних рабочих бунтовать да ученым очки вставлять,— они и перепужались до смерти. «Иди,— говорят,— лобастый, во-свояси, Христос с тобою, а то ты нам таких делов напутляешь, что и в жисть не расхлебать!»— и проводили его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого! Он, брат, зубец!— не без хвастливости произнес Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту.— Ты, Митрич, не видал его? Нет? Жалко. Гутарют, у него башка агромадная.— Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цыгарку, продолжал: — Во каких бабы побольше бы родили. Зубец, пра! Он ишо не одному царю перекрут сделает...— И вздохнул: — Нет, Митрич, ты не спорий со мной: Ильич-то — казак. Чего уж там наводить! В Сибирской губернии таких и на кореню не бывает.

Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.

...Он не уснул до утра. А с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета.

Вернулся к составу в восьмом часу. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь и вероятному успеху своей поездки, и солнцу, перелезавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному певучему тембру доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный,

проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извилюжена следами крохотных ручейков, пресно пахла дождем и еще хранила на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших крохотных ямочек — будто оспа изрябила ее.

Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких, обляпанных грязью сапогах. Бунчук угадал есаула Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись. Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами.

— Хорунжий Бунчук? Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам...

Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели.

— Я не собираюсь протягивать тебе руку... ты поспешил,— насмешливо отозвался Бунчук.

— Ты, что же, спасаешь здесь шкуру? Или... приехал из Петрограда? Не от душки ли Керенского?

— Это что — допрос?

— Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца.

Бунчук, затая усмешку, пожал плечами.

— Могу тебя успокоить: я приехал сюда не от Керенского.

— Но ведь вы же сейчас, перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь. Итак, все же, кто ты? Погон нет, шинель солдатская...— Калмыков, шевеля ноздрями, презрительно и сожалеюще оглядел сутуловатую фигуру Бунчука.— Политический коммивояжер? Угадал? — не дожидаясь ответа, повернулся, размашисто зашагал.

У своего вагона Бунчука встретил Дугин.

— Чего ж ты? Митинг уж начался.

— Как начался?

— А так. Наш сотенный есаул Калмыков в отлучке был, а нынче прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков. Зараз только пошел их уговаривать.

Бунчук задержался, выспрашивая о том, с какого времени был откомандирован в Петроград Калмыков. Со слов Дугина узнал, что тот отсутствовал почти месяц.

«Один из тех душителей революции, которых Корнилов посылал в Питер под предлогом изучения бомбометания. Значит — надежный корниловец. Ну, ладно!» — отрывочно подумал он, направляясь вместе с Дугиным к месту митинга.

За пакгаузом — серо-зеленый частокол казачьих гимнастерок и шинелей. В середине, окруженный офицерами, на опрокинутом боченке стоял Калмыков, резко, раздельно кричал:

— ...довести до победного конца! Нам доверяют — и мы оправдаем это доверие!..

— ...Агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наши хчастей по железной дороге. Получено приказание верховного главнокомандующего: в том случае, если не представится возможным совершать переброску по железной дороге, то итти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Готовьтесь к выгрузке!

Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на середину; не подходя к кругу офицеров, зычно, по-митинговому крикнул:

— Товарищи казаки! Я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется итти против народа, если вам хочется восстановить монархию и продолжать войну до тех пор, пока все вы превратитесь в мертвецов и калек,— идите!.. Но петроградские рабочие и солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками.

Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум, буря выкриков словно сорвала Калмыкова с боченка. Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку; не дойдя несколько шагов, крутнулся на каблуках.

— Казаки! Хорунжий Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта — вы это знаете. Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя?

Командир шестой сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом:

— Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по тылам!.. Берите его!

— Погодим бра-а-ть!

— Пущай говорит!

— На чужой роток нечего накидывать платок. Пущай выявляет свою направлению.

— Арестовать!

— Дезертиров нам не надо!

— Говори, Бунчук!

— Митрич! Рубани-ка их до сурепки!

— До-ло-о-ой!

— Цыц, сучье вымя!

— Крой их! Крой их, Бунчук! Ты им вспоперек. Вспоперек!

На боченок вскочил высокий, без фуражки, казак, член полкового ревкома. На его тонкой шее по-змеиному вертелась голо остриженная, шишкастая, как дыня-зимовка, голова. Он горячо призывал казаков не подчиняться изменнику революции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом. Закончил речь, обращаясь к Бунчуку:

— А вы, товарищ, не думайте, что мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем как представителя народа, и ишо за то уважаем, что, бывши вы офицером, не притесняли казаков, а были с ними вроде как по-братски. Грубого слова от вас мы не слыхали, но не думайте, что мы, необразованные люди, не понимаем обхожденья,— ласковое слово и скотина понимает, не то что человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, что на них руку мы не подымем!

Будто в литавры ахнули: грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно спадая, утих.

Вновь на бочонке качнулся, переламываясь статным торсом, Калмыков. О славе и чести седого Дона, об исторической миссии казачества, о совместно пролитой офицерами и казаками крови говорил он, задыхаясь, мертвенно бледнея.

Калмыкова сменил полный белобрысый казак. Злобную речь его, направленную против Бунчука, прервали, — оратора стянули за руки. На бочонок вспрыгнул Чикамасов. Будто раскалывая полено, махнул руками, гаркнул:

— Не пойдем! Не будем стружаться! В телеграмме прописано, будто, казаки, сулились мы ему! Офицерье из казачьего союзного совета сулились! Греков хвостом намотал,— пущай он и помогает!

Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо, на шее и висках во вздувшихся венах стремительно колотился пульс. Ощущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовалось, что еще немного — и каким-нибудь безрассудным поступком, кровью разрядится напряженность.

Со станции толпой пришли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг.

Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку:

— Митрич, что делать?.. Калмыков что-то удумал. Стружают зараз пулеметы, гонца верхового куда-то послали.

— Пойдем туда. Собери человек двадцать казаков! Живо!

У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган.

Калмыков прыгнул от лошадей, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвера не успел: выше головы его цвинькнула пуля; опережая звук выстрела, глухо, недобрым голосом крикнул Бунчук:

— Руки!..

Курок его нагана, обнажая клювик бойка, медленно поднял-

ся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивал пальцами.

Офицеры неохотно сдали оружие.

— И шашки прикажете снять? — почтительно спросил молодой хорунжий — пулеметчик.

— Да.

Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон.

— К этим приставить часовых,— обратился Бунчук к Дугину.— Чикамасов арестует остальных и доставит их сюда. Слышишь, Чикамасов? А Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. Есаул Калмыков, изволь итти вперед.

— Ловко! Ловко! — восхищенно сказал один из офицеров, прыгая в вагон и провожая глазами удалявшихся Бунчука, Дугина и Калмыкова.

— Господа! Стыдно, господа! Мы вели себя, как дети! Никто не сообразил во-время шлепнуть этого подлеца! Когда он направил на Калмыкова револьвер, тут бы ему раз—и готово бы!— Войсковой старшина Сукин с возмущением оглядел офицеров, долго доставал прыгающими пальцами папироску из портсигара.

— Ведь их целый взвод... перестреляли бы,—виновато заметил хорунжий — пулеметчик.

Офицеры молча курили, изредка переглядывались. Быстрота совершившегося их ошеломила.

Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Встречавшиеся жители смотрели изумленно, останавливались, шептались. Над Нарвой линяло предвечернее пасмурное небо. По путям червонными слитками лежали опавшие листья берез,— август растерял уходя. Через зеленый купол церковки перелетывали галки. Где-то, за станцией, за сумеречными полями, дыша холодком, уже легла ночь, а от Нарвы на Псков, на Лугу, небесной целиной, бездорожьем все еще шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака; переходя невидимую границу, теснила сумерки ночь.

Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо Бунчуку:

— Под-лец!..

Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови, долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшейся скользнуть в карман.

— Иди!..— насилу выговорил он.

Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов, порожденных на фронте смертной тоской, страхом, отчаянием и болью.

— Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это,— выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука.

— Иди!. Прошу...— всякий раз уговаривал тот.

И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке. Скрипя зубами, Калмыков кричал:

— Вы не партия, а банда гнусных подонков общества! Кто вами руководит? — Немецкий главный штаб. Больше-вики... х-х-ха! Ублюдки! Вашу партию, сброд этот, покупают, как б... Хамы!.. Хамы! ...Продали родину!.. Я бы всех вас на одной перекладине... О-о-о-о! Время придет!.. Ваш этот Ленин за тридцать немецких марок продал Россию?! Хапнул миллиончик — и скрылся... Каторжанин!..

— Становись к стенке! — протяжно, заикаясь, крикнул Бунчук.

Дугин испуганно затормошился.

— Илья Митрич, погоди! Чегой-то ты? По-сто-ой!..

Бунчук с обезображенным яростью, почерневшим лицом подскочил к Калмыкову, крепко ударил его в висок. Топча ногами слетевшую с головы Калмыкова фуражку, он тащил его к кирпичной темной стене водокачки.

— Становись!

— Ты что?! Ты!... Не смей!... Не смей бить!...— рычал Калмыков, сопротивляясь.

Глухо ударившись спиной о темную стену водокачки, он выпрямился, понял:

— Убить хочешь?

Изогнувшись, торопился Бунчук, вынул револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана.

Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы.

— Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры... Я и перед сме-е...

Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, взвилось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплюнул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком. Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь набок, как засыпающая птица, подвернул голову под плечо, коротко всхлипнул.

На первом перекрестке Дугин догнал Бунчука.

— Митрич... Что же ты, Митрич? За что ты его?

Бунчук долго тряс плечи Дугина, вонзая в глаза ему наста-

вленный неломкий взгляд, сказал странно спокойным, потухшим голосом:

— Они нас или мы их!.. Середки нету. Пленных нету. На кровь — кровью. Кто кого... Война на истребление... понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью, таких стрелять надо... понял? Чего слюни развесил? Сожмись! Злым будь! Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас, папироски изо рта не вынимая, а ты... Эх, мокрогубый!

У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы и как-то нелепо путались большие, в порыжелых сапогах, ноги.

По безлюдному руслу улички шли молча. Бунчук изредка поглядывал назад. Над ними в темноте низко пенились, устремляясь на восток, траурно-черные облака. В просвет, с крохотного клочка августовского неба, зеленым раскосым оком мертвеца глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем месяц.

А. Толстой

ХЛЕБ

(Отрывок из романа)

Владимир Ильич щелкнул выключателем, гася лампочку на рабочем столе (электричество надо было экономить). Потер усталые глаза. За незанавешенным раскрытым окном еще синел тихий вечер. Засыпая, возились галки на кремлевской башне.

— Я только что получил сведения, правда, еще не проверенные,— сказал Сталин.— В Царицыне, Саратове и Астрахани Советы отменили хлебную монополию и твердые цены...

— Головотяпы! — Владимир Ильич потянулся за карандашом, но не взял его.— Слушайте,— ведь это же — черт знает что такое.

— Не думаю, чтобы — просто головотяпство... На Нижнем Поволжье с хлебозаготовками настоящая вакханалия... Еще хуже на Северном Кавказе и в Ставропольской губернии. Не сегодня — завтра Краснов перережет дорогу на Тихорецкую, мы потеряем и Кавказ и Ставрополь... Так дальше никуда не годится...

Галок на башне что-то встревожило,— они поднялись и снова сели.

— Конкретно — что вы предлагаете, товарищ Сталин?

Сталин потер спичку о коробку,— головка, зашипев, отскочила, он чиркнул вторую,— огонек осветил его сощуренные, будто усмешкой, блестевшие глаза с приподнятыми нижними веками.

— Мы недооцениваем значение Царицына. На сегодняшний день Царицын — основной форпост революции,— сказал он,— как всегда, будто всматриваясь в каждое слово.— Магистраль Тихорецкая — Царицын — Поворино — Москва — единственная оставшаяся у нас питающая артерия. Потерять Царицын — значит дать соединиться донской контрреволюции с казацкими верхами Астраханского и Уральского войска. Потеря Царицына немедленно создает единый фронт контрреволюции от Дона до чехословаков. Мы теряем Каспий, мы оставляем в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа.

Владимир Ильич включил лампочку. Белый свет лег на бумаги и книги, на большие, с рыжеватыми волосками, его руки, торопливо искавшие какой-то листочек. Сталин говорил вполголоса:

— Все наше внимание должно быть сейчас устремлено на Царицын. Оборонять его можно,— там тридцать пять, сорок тысяч рабочих и в округе — богатейшие запасы хлеба. За Царицын нужно драться.

Владимир Ильич нашел, что ему было нужно, быстро облокотился, положив ладонь на лоб, пробежал глазами исписанный листочек.

— «Крестовый поход» за хлебом нужно возглавить, — сказал он.— Ошибка, что этого не было сделано раньше. Прекрасно! Прекрасно! — Он откинулся в кресле, и лицо его стало оживленным, лукавым.— Определяется центр борьбы — Царицын. Прекрасно! И вот тут мы и победим...

Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека — величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие — для борьбы и победы...

Тридцать первого мая в московской «Правде» был опубликован мандат:

«Член Совета народных комиссаров, народный комиссар Иосиф Виссарионович Сталин назначается Советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами.

Местные и областные совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные организации и начальники станций, организации торгового флота, речного и морского, почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары обязываются исполнять распоряжения товарища Сталина.

Председатель Совета народных комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)«

Л. Никулин

РАССКАЗ О ЖЕСТОКОСТИ

Осенью 1918 года из теплушки товарного поезда, шедшего с юга в сторону Клинцов, в сторону тогдашней советской границы, вывели человека в куртке железнодорожника. Гетманские стражники привели его в станционное здание, в комнату, которая раньше была железнодорожной кассой. Только потому, что в окнах комнаты были железные решетки, ее приспособили под тюрьму.

Лейтенант Штрац, офицер германской службы, вошел к арестованному один, без переводчика. Следом за ним ввели человека, похожего на сельского дьячка, в широкополой соломенной шляпе.

— Он? — спросил лейтенант у шпиона.

— Он,— ответил шпион и, поклонившись лейтенанту, ушел.

— Also, mein Herr, — как бы скучая, сказал лейтенант и приказал унтеру подать стул. Некоторое время он рассматривал человека, который стоял прямо перед ним. Человек держал руки за спиной, не по доброй воле, а потому, что запястья его рук были скручены по живому телу проволокой, — такой был обычай унтеров лейтенанта Штрауа.

— Also, mein Herr, — повторил лейтенант,— как вам удобно со мной говорить, — по-русски или по-немецки? Я происхожу из Курляндии и учился в Петершуле.

Арестованный, однако, молчал.

— Запирательство не приведет ни к чему,— продолжал лейтенант.— Вы, конечно, не мещанин города Сумы, вы не железнодорожник. Вы — личность, посланная для связи с разбойниками, действующими в районе нейтральной зоны. И вы везете инструкции к тому матросу, который называет себя Гроза.

Последнюю фразу лейтенант произнес уже по-немецки.

— Не розумию, добродию, — тихо по-украински сказал арестованный.

Лейтенант усмехнулся и помолчал.

— «Я никогда не грешил по пустякам, мой создатель...» Это из «Разбойников», из Шиллера. Я думаю, вы читали «Разбойников», господин большевик? Многие из вас были за границей и знают языки. Человек, подобный вам, исполняющий закордонную работу в районе, занятом оккупационными войсками, должен знать наш язык.

— Ни, не розумию,— опять сказал арестованный.

Тогда офицер ударил его тонким, сплетенным из воловьих жил хлыстом по глазам.

Арестованному показалось, что в комнату ударила молния. Он пошатнулся и упал лицом на решетку окна.

— Вы больше не будете видеть правым глазом,— сказал.

приближаясь, офицер. — Я думаю, что у вас вытечет глаз. Но вы не будете видеть и левым глазом, если не скажете нам, где вас ждет человек, называемый Гроза.

Он поднял хлыст из воловьих жил.

— Мы все же представители культуры, — с некоторой иронией продолжал он. — Матрос Гроза — настоящий азият. Он захватил отряд гетманской стражи, который вешал крестьян — поджигателей сена для наших лошадей. Он освободил мужиков и заставил их казнить гетманских варговых и одного нашего унтер-офицера... Не понимаю, что вы имеете против нашей оккупации?

Он снова поднял хлыст из воловьих жил, но, подержав мгновенье в воздухе руку, опустил ее. Потом поискал у себя в карманах и нашел то, что искал. На ладони у него лежала плоская жестяная пятиконечная звездочка. Солнце, ветер, дождь сделали ее бледнозолотой.

— Пентаграмма,— сказал офицер,— звезда магов, магическая звездочка, вы сделали ее символом братства наций, символом Интернационала. Ее можно нарисовать одним росчерком, не отнимая пера от бумаги. Я снял ее с простреленной фуражки одного красного, вернее, с его простреленного лба.

И вдруг он выругался и, облизывая языком пересохшие губы, закричал:

— Ну, так скажешь, красная сволочь, где тебя ждет Гроза?

Человек, который называл себя Гроза, именно в ту минуту сидел на платформе, среди узлов и солдатских укладок-сундучков. Его окружали женщины, старики, дети, ожидавшие посадки в теплушки. На этом человеке была свитка селянина и старая солдатская папаха. Он видел, как утром, в восьмом часу утра, гетманская варта вела из теплушки высокого человека в черной куртке, как он шел, высоко подняв голову, как бы в недоумении поглядывая вокруг себя. И через четыре часа Гроза увидел его снова. Куртка висела у него на плечах, алые полосы выступали на белой, вышитой крестиками рубахе, голова падала на грудь. Когда его проводили мимо селян по платформе и женщины увидели изуродованное, распухшее лицо, они заголосили и застонали, закрывая глаза детям:

— Боже ж мий, за що воны так людыну...

Тот же матрос Гроза, лежа среди кустов орешника, видел, как гетманский солдат делал из багажной веревки петлю и как поддерживал голову осужденного, чтобы просунуть ее в петлю. Когда все было сделано, этот истерзанный, истоптанный сапогами, изуродованный человек проявил признаки жизни и ужасным голосом воскликнул: «Да здравствует...», но крик был задавлен в горле, и слово «революция» можно было угадать только по движению распухших окровавленных губ.

Два дня спустя голое тело неизвестного вынули из петли. На покрытой черными полосами запекшейся крови груди можно было разглядеть большую пятиконечную звезду, вырезанную глубоко и довольно тщательно одним росчерком штыка-кинжала, именно так, как говорил лейтенант Штрац.

Неизвестного похоронили среди трех чудесных деревьев. Десять дней спустя в Москве было получено письмо, которое можно считать некрологом:

«Наш курьер попал в руки немцев и гетманцев и, как известно, погиб. Товарищ, видевший его казнь, говорит, что он умер геройски и, несмотря на ужасные пытки, не дал никаких показаний. Здешний оберпалач, лейтенант Штрац, опять показал себя. Говорят, что на теле убитого была вырезана красноармейская звезда. Эту звезду видели селяне, которым было приказано его похоронить. Вот на что способен осатаневший классовый враг, когда его берет за горло трудовой народ! Но эта смерть произвела глубокое впечатление на здешних жителей. Они самоотверженно помогают нам во всем».

Три месяца спустя господа офицеры встречали новый, 1919, год. Разумеется, они встречали Новый год отдельно от унтер-офицеров и солдат. В эту же новогоднюю ночь отряды партизан окружили офицерский барак. И в те самые минуты, когда лейтенант Штрац следил за стрелками часов, чтобы пригласить всех забыть старый, 1918, год и день девятого ноября и выпить за новый, 1919, четыре ручных гранаты, пробив двойные стекла, влетели в офицерский барак. Все исчезло в дыму и огне, разрывающем в клочья тела господ офицеров.

Когда весть о смерти лейтенанта Штраца дошла до его берлинских друзей, одна обладавшая чувствительным сердцем дама воскликнула:

— Убить человека в новогоднюю ночь! Какая жестокость!

Вас. Лебедев-Кумач

В ДВАДЦАТОМ ГОДУ

Товарища в жизни находишь не вдруг,
Не каждый становится братом...
В жестоком бою молодой политрук
Спасен был суровым комбатом,
И крепкою дружбой связались они
В июльские, жаркие, трудные дни.

Они побеждали и смерть и нужду
В походах по нивам несжатым...
— Товарищ, в каком это было году?
— В двадцатом, товарищ, в двадцатом!

Сквозь пули дроздовцев прошли на Сиваш
Два верных товарища вместе,
И был на двоих лишь один карандаш
Для писем жене и невесте.
Где порох и пули, где раны и кровь,
Там сердце сильней вспоминает любовь!

Комбат заболел и метался в бреду,
Другой был сиделкой и братом...
— Товарищ, в каком это было году?
— В двадцатом, товарищ, в двадцатом!

Как цепь самолетов победной чредой,
Над родиной годы промчались.
Былой политрук и полковник седой,
Как прежде, друзьями остались.
И дружбу, как знамя, они пронесли
Средь мирных побед обновленной земли.

И часто два друга на даче, в саду,
Толкуют о прошлом богатом.
— Ты помнишь, в каком это было году?
— В двадцатом, полковник, в двадцатом!

Сергей Есенин

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Сергей Есенин

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,—
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,

Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

Сергей Есенин

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх, вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с «венкой» в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

Владимир Маяковский

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на» —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели притти вам.

Заседают: —
Покупка скляянки чернил
Губкооперативом».

Через час
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.

В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

Леонид Ленч

ПРАЗДНИК В МАЛАЕВКЕ

Придумала все это учительница Зоя Ивановна. Два дня она ходила из избы в избу по деревне, смело шагая по стылым лужам, румяная от осеннего ветра, возбужденная, веселая и очень хорошенькая в своей короткой меховой кофточке.

Когда все справки были собраны, учительница явилась в сельсовет и сказала председателю Евдокии Марковне, с которой была приятельницей:

— Разрешите вам доложить, тетя Дуся, что наша Малаевка скоро станет знаменитой.

— Это почему так? — с некоторой тревогой спросила степенная Евдокия Марковна.

— Оказывается, Малаевка дала стране трех агрономов, трех командиров Красной Армии, одного танкиста-полковника, между прочим, недавно награжден орденом...

Зоя Ивановна сделала многозначительную паузу и закончила:

— И одного астронома!

— Врачей и агрономов,— этих всех знаю,— сказала Евдокия Марковна. — И полковник с орденом мне известен — это Бутягиных племянник. А вот кто же астроном? Астроном — это который звезды считает, так, что ли?

— Не считает, а вообще изучает звездный мир, тетя Дуся. Знаете, кто? Архипова Якова Васильевича, из третьей бригады, сын.

— Ленька?! — поразилась Евдокия Марковна. — Ишь ты! А я ему, конопатому, помню, уши рвала за озорство... Ну, ты чего надумала-то?

— Надумала пригласить в Малаевку на конференцию нашу интеллигенцию. Пусть и городские приедут в гости к землякам. Установим с ними связь, они нам будут помогать. О такой встрече в газетах напишут.

— Обмозгуем это дело!

А уж через три дня после этого разговора Зоя Ивановна сама отвезла на станцию и сдала прямо в почтовый вагон двенадцать заказных писем. Вечером она заглянула к Евдокии Марковне домой и застала у нее бабку Егориху, восьмидесятилетнюю старуху-бобылку, пенсионерку малаевского колхоза.

Егориха, прямая, как палка, с красными от слез глазами, сидела напротив председательши и, перебирая край черного узорного платка, на что-то жаловалась.

— Вот послушай-ка бабку,— заявила Евдокия Марковна. — На тебя жалуется.

Старуха осуждающе оглядела учительницу.

— Внучонка моего почему не пригласила на праздник? А? Всех позвала: Леньку архиповского позвала, Саньку бутягинского позвала, Фроську Дулевых позвала, а моего Гаврюшку волк, выходит, съел?!

Учительница смутилась:

— Простите, бабушка. Разве внук ваш в городе работает?

— В городе.

— Кем он работает-то?

— Дворником работает! — гордо сказала бабка Егориха.

Учительница переглянулась с Евдокией Марковной и, потушив улыбку, стала объяснять бабке, что на конференцию приглашают людей известных, образованных, одним словом, интеллигенцию — выходцев из деревни Малаевки. Однако на бабку эти объяснения не произвели никакого впечатления:

— По-твоему, выходит, Гаврюшка мой хуже всех.

— Не в этом, бабушка, дело. Дело в том, что в данном случае нас интересовали образованные люди, которые, можно сказать, с книжками не расстаются...

— Которые люди его видали, говорили, что он всегда с книжкой ходит подмышкой, называется домовая...

Потом бабка Егориха объяснила, что внук ничего ей не пишет уже года три, что́ с ним, она не знает, а повидаться хочется. Так вот, если бы ему послали такое письмецо, как всем, он бы, наверное, приехал.

Зоя Ивановна написала внуку бабки Егорихи письмо, в котором подробно изложила несложные новости неторопливой бабкиной жизни, а в конце уже от себя приписала:

«Как вам не стыдно, товарищ Макаров, забывать старуху... Приезжайте в отпуск в деревню. Бабушка ваша очень о вас скучает».

Приближался день конференции. Однажды во время большой перемены к Зое Ивановне подошла сторожиха Акулина и сказала:

— Вас там бабка Егориха спрашивает.

Учительница накинула платок и вышла на крыльцо. Бабка Егориха, в оранжевом тулупе, в красных варежках собственной вязки, с клюкой в руках, стояла на нижней ступеньке. Лицо ее выражало тревогу.

— Худо с Гаврюшкой,— сказала она шопотом.— На почте мне его письмо прочитали, но я что-то не поняла. С дворников его сняли.

Зоя Ивановна взяла у бабки письмо и громко прочитала:

«Дорогая бабушка Агафья Егоровна, очень рад, что вы здравствуете. А я было думал, что вы уже померли. Сообщаю

вам свою новость: я союзом с должности дворника снят...»

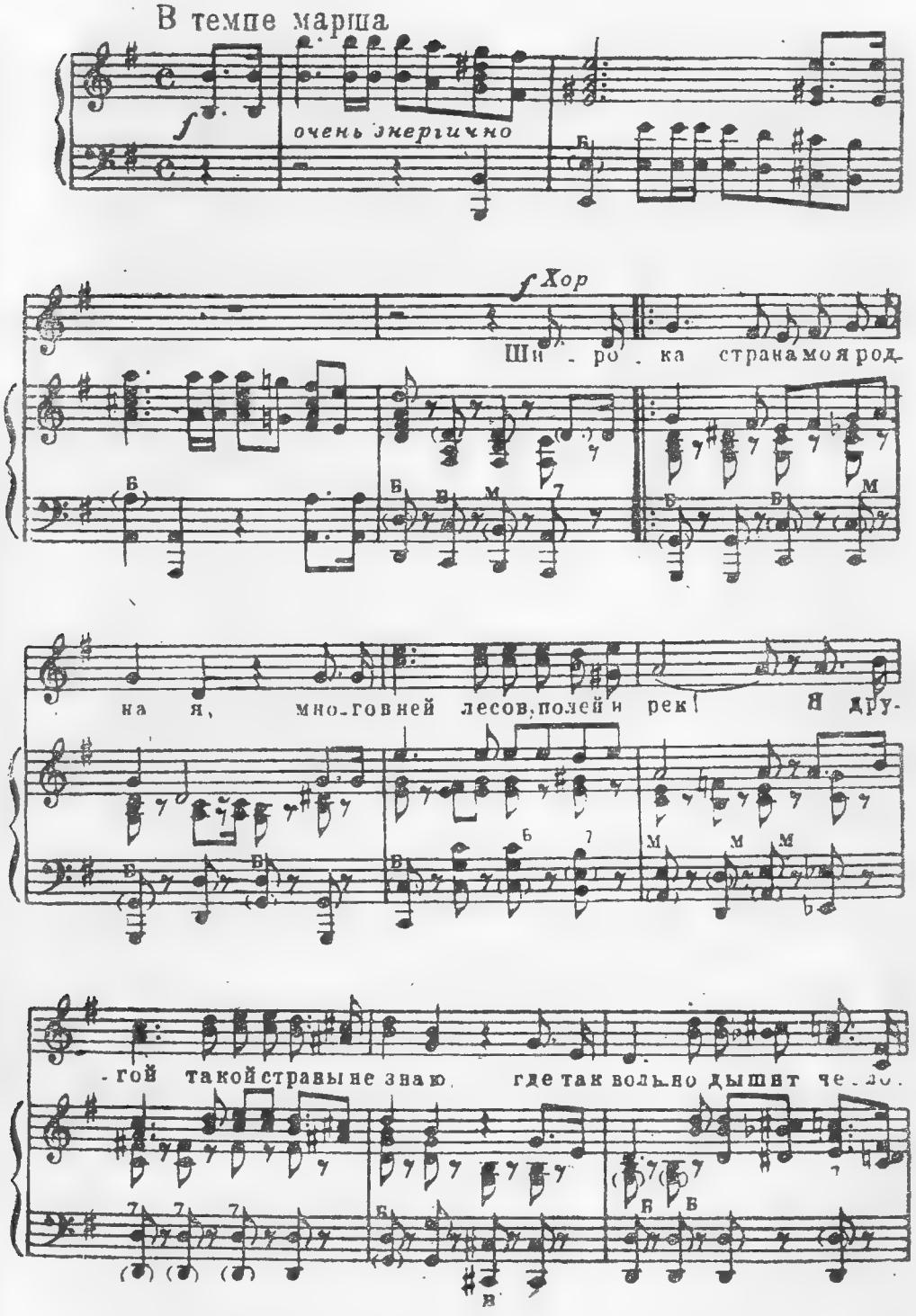
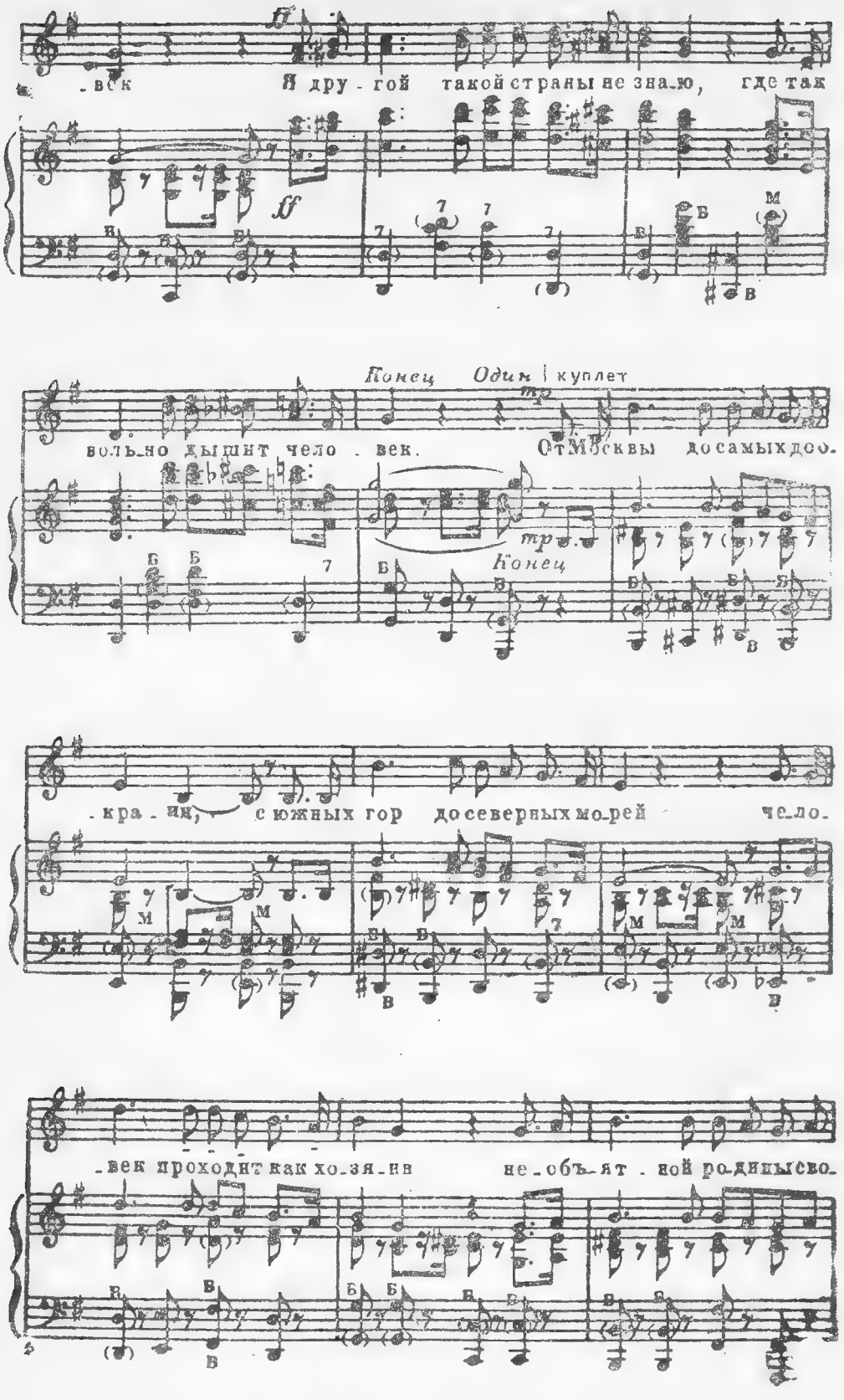
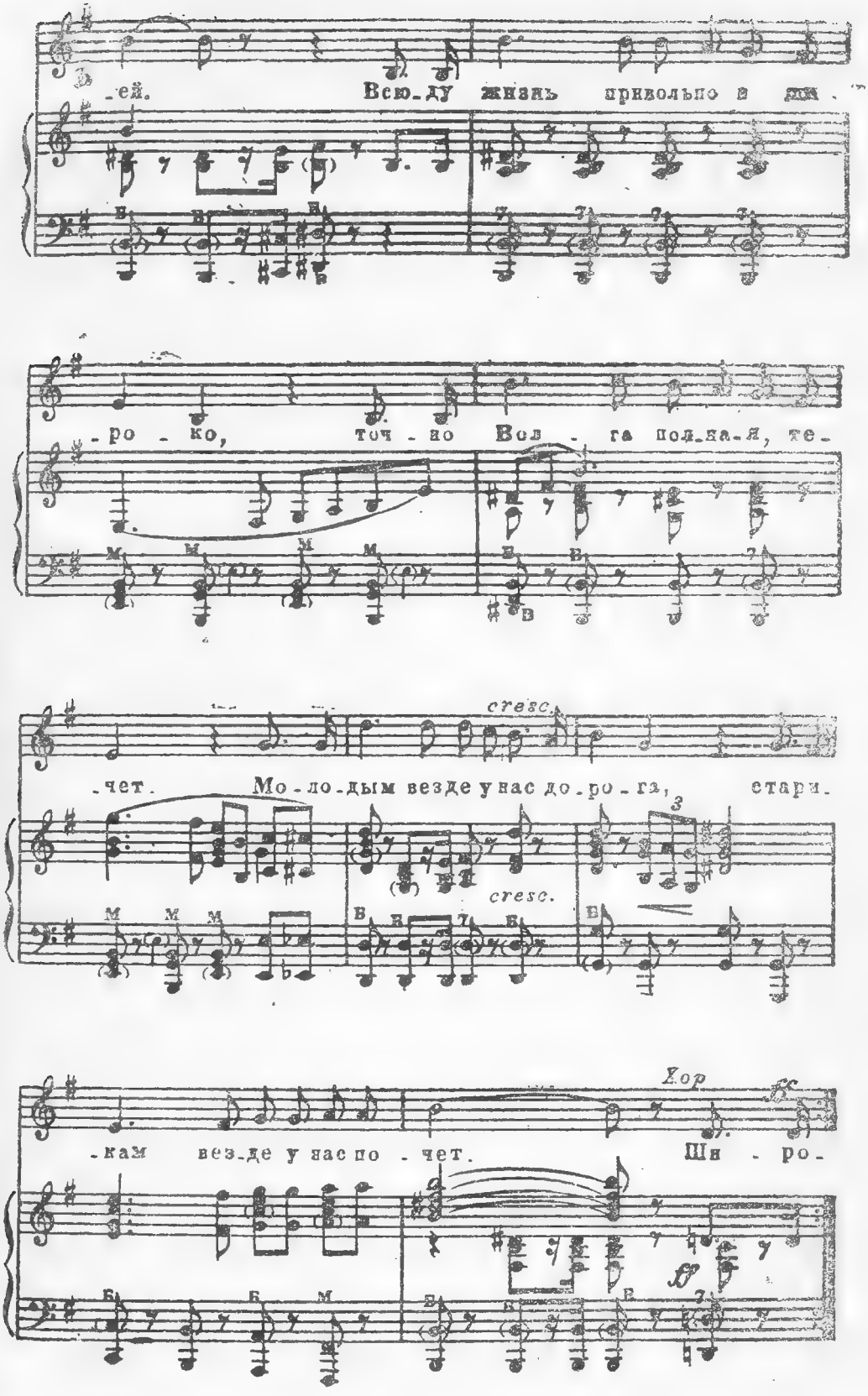
Тут бабка Егориха жалостливо вздохнула.

«...учусь в оперной студии, потому что жилец нашего дома артист товарищ Благолепов нашел у меня богатый голос бас. Я, бабушка, свободно беру нижнее «до». В настоящий момент я прохожу арию князя Игоря и князя Галицкого...».

На конференции бабка Егориха, нарядная, торжественная, сидела в первом ряду. После того, как астроном Алексей Архипов доложил своим землякам, как ему удалось найти на древнем нашем небе новую молодую звезду, на сцену вышла Зоя Ивановна и сказала:

— А сейчас будет художественная часть. Наш земляк, товарищ Макаров, внук бабушки Егорихи, которая здесь присутствует, учащийся оперной студии, споет нам арию князя Игоря из оперы Бородина.

ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Музыка *И. Дунаевского* Слова *Вас. Лебедева-Кумача*

-век
Я дру-гой такой страны не зна-ю, где так
Конец Один куплет
воль-но дышит чело-век.
От Москвы до самых до-
Конец
-кра-ин, с южных гор до северных мо-рей че-ло-
-век проходит как хо-зя-ин
не-объ-ят-ной ро-дины сво-

-ей. Всю-ду жизнь привольно и лег-
-ро-ко, точ-но Вол-га полная, те-
-чет. Мо-ло-дым везде у нас до-ро-га, стари-
cresc.
cresc.
Хор
-кам везде у нас по-чет. Ши-ро-

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет,
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое — «товарищ» —
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

За столом — никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный сталинский закон.
Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:
Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить!
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать,
Как невесту, родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

С. Маршак

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В красной столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков —
Каждый
К труду-обороне
Готов.

Кто же, откуда
И что он за птица —
Парень,
Которого
Ищет столица?

Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что в народе
О нем говорят.

**
*

Ехал
Один
Гражданин
по Москве,—
Белая кепка
На голове,
Ехал весной
На площадке трамвая,
Что-то под грохот колес
Напевая...
Вдруг он увидел —
Напротив
В окне
Мечется кто-то

В дыму и огне.
Много столпилось
Людей на панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки
Ребенок
Протягивал к ним.

Даром минуты одной
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая —
Автомобилю
Наперерез
И по трубе водосточной
полез.

Третий этаж,
И четвертый,
И пятый...
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Рыжего дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.
Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень, слабея,
Дополз до окошка.
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,
Девочку взял
И спускается вниз.
Вот ухватился
Рукой за колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону.
Еле стоит
На карнизе нога,
А до балкона —
Четыре шага.
Видели люди,
Смотревшие снизу,
Как осторожно
Он шел по карнизу.
Вот он прошел
Половину
Пути.
Надо еще половину
Пройти.

Шаг. Остановка.
Другой. Остановка.
Вот до балкона
Добрался он ловко,
Через железный
Барьер перелез,
Двери открыл —
И в квартире исчез.

С дымом мешается
Облако пыли.
Мчатся пожарные
Автомобили.
Щелкают звонко,
Тревожно свистят,
Медные каски
Рядами блестят.
Миг — и рассыпались
Медные каски.
Лестницы выросли
Быстро, как в сказке.
Люди в брезенте —
Один за другим —
Лезут по лестницам
В пламя и дым...

«Выше, скорее,
Товарищ пожарный!
Будем навеки
Тебе благодарны.
Девочку нашу
Ты должен спасти.
Дома осталась
Она взаперти»,

«Нет, —
Отвечают
Пожарные
Дружно, —
Девочка в здании
Не обнаружена.
Все этажи
Мы сейчас обошли,
Но никого
До сих пор не нашли!»
Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомый.
Рыжий от ржавчины,
Весь в синяках,
Девочку
Крепко
Держал он в руках.

Женщина
Дочку
Схватила, рыдая.
Парень вскочил
На подножку трамвая,
Щеки и шею
Он вытер платком,
Что-то запел
И пропал за углом.

***

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В красной столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
К славному подвигу
Каждый готов.

ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

Мы выросли в годы советской власти,
неведом нам прошлого дым.
Слово «ребенок» слову «несчастье»
было тогда родным.
А мы ребенка встречаем песней,
нам каждый младенец мил.
— Здравствуйте, гражданин чудесный,
добро пожаловать в мир.
Можете петь, можете жить,
родителей веселить.
Есть у нас хлеб, чтобы всех накормить,
школы, чтоб всех обучить.
Растите во славу советской власти,
бегайте, — в добрый час.
Слово «ребенок» и слово «счастье»
стали родными у нас.
Страна заботливо одевает
любимых птенцов своих,
Наборщики, радуясь, набирают
различные книжки для них.
И машинисты, с ветрами сражаясь,
везут их во все концы,
Суровые каменщики, улыбаясь,
возводят для них дворцы.
Но наши дети не белоручки,
не маменькины сынки.
Страна советов рукой могучей
выводит их в большевики.
Ходил по многим я городам
и многих людей видал.
Я к детским прислушивался мечтам,
я игры их наблюдал.
И рассказал под секретом большим
малыш семилетний мне,
Что он мечтает, как сам Чапаев,
скакать на лихом коне.
Глаза другого подернулись дымкой,
он хочет ученым быть,
Он хочет пробраться в Берлин невидимкой —
Тельмана освободить.
А тихая девочка мне сказала:

«Нет лучше мечты моей:
Я вырасту летчицей, — словно Чкалов,
помчусь через семь морей».
И стало радостно песне моей,
и понял я тут сполна,
Что родина в каждом из малышей,
как в капле, отражена.
Я был в Артеке. Среди друзей
стоял недвижим и тих,
Я видел, как наши ребята встречали
испанских братьев своих.
Какая в их взорах горела дружба!
Им было по десять лет.
Наши дети — наше оружие,
сильнее его нет.
Когда я строки эти пишу,
вечер глядит в окно.
Стихает детский веселый шум,
поздно уже, темно.
Плывет над Москвою моей луна,
песня звенит вдали.
Как нежная мать, проверяет страна:
все ли дети легли?
Она говорит им: «Вы будете жить,
родную страну любить.
Есть у нас хлеб, чтобы вас накормить.
Есть у нас школы, чтоб вас обучить,
самолеты, чтоб вас защитить».

С. Михалков

СВЕТЛАНА

Ты не спишь,
Подушка смята,
Одеяло навесу...
Носит ветер запах мяты,
Звезды падают в росу.
На березах спят синицы,
А во ржи перепела...
Почему тебе не спится,
Ты же сонная легла?

Ты же выросла большая,
Не боишься темноты.
Может,
Звезды спать мешают?
Может,
Вынести цветы?

Под кустом лежит зайчиха,
Спать и мы с тобой должны.
Друг за дружкой
Тихо-тихо
По квартирам ходят сны.

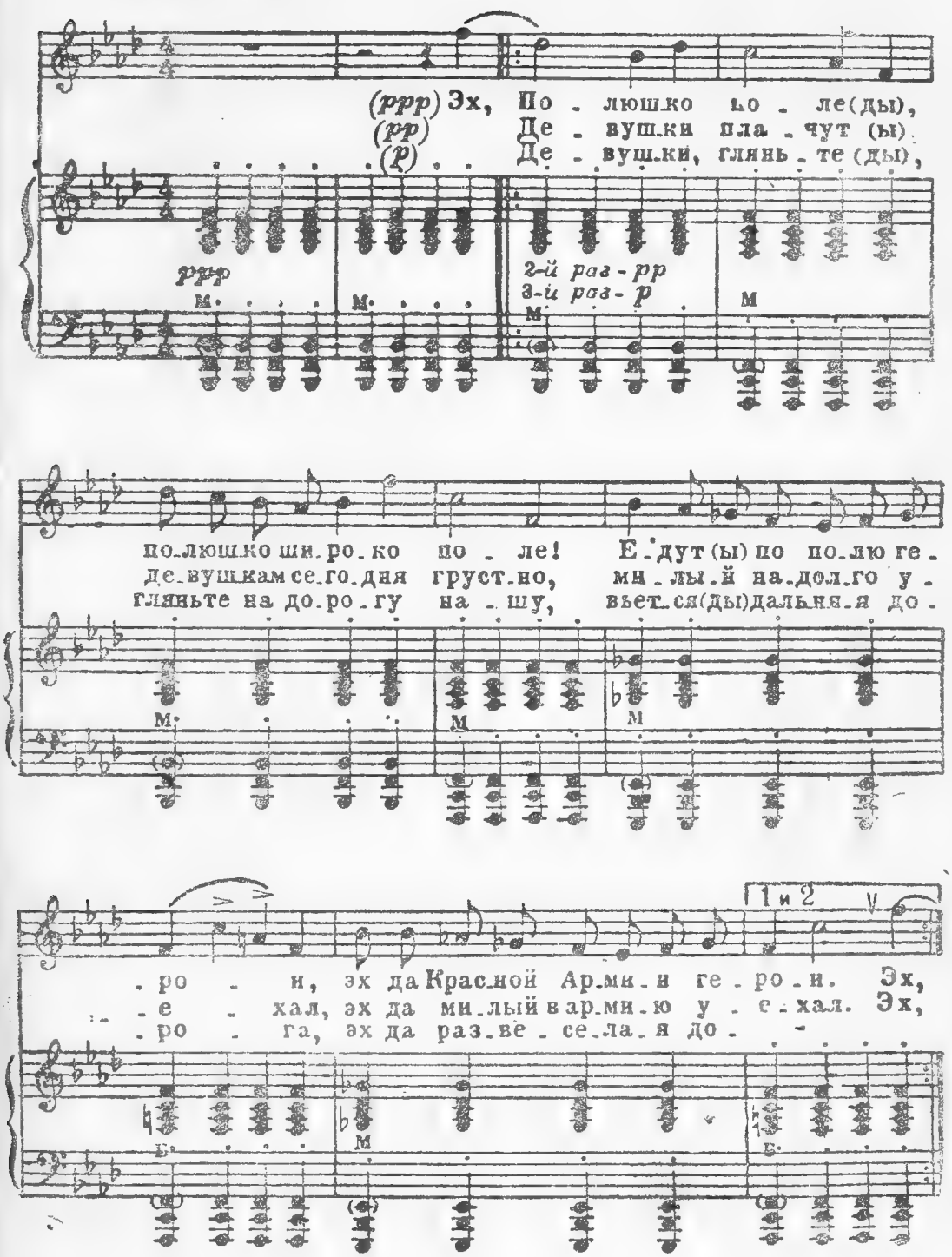
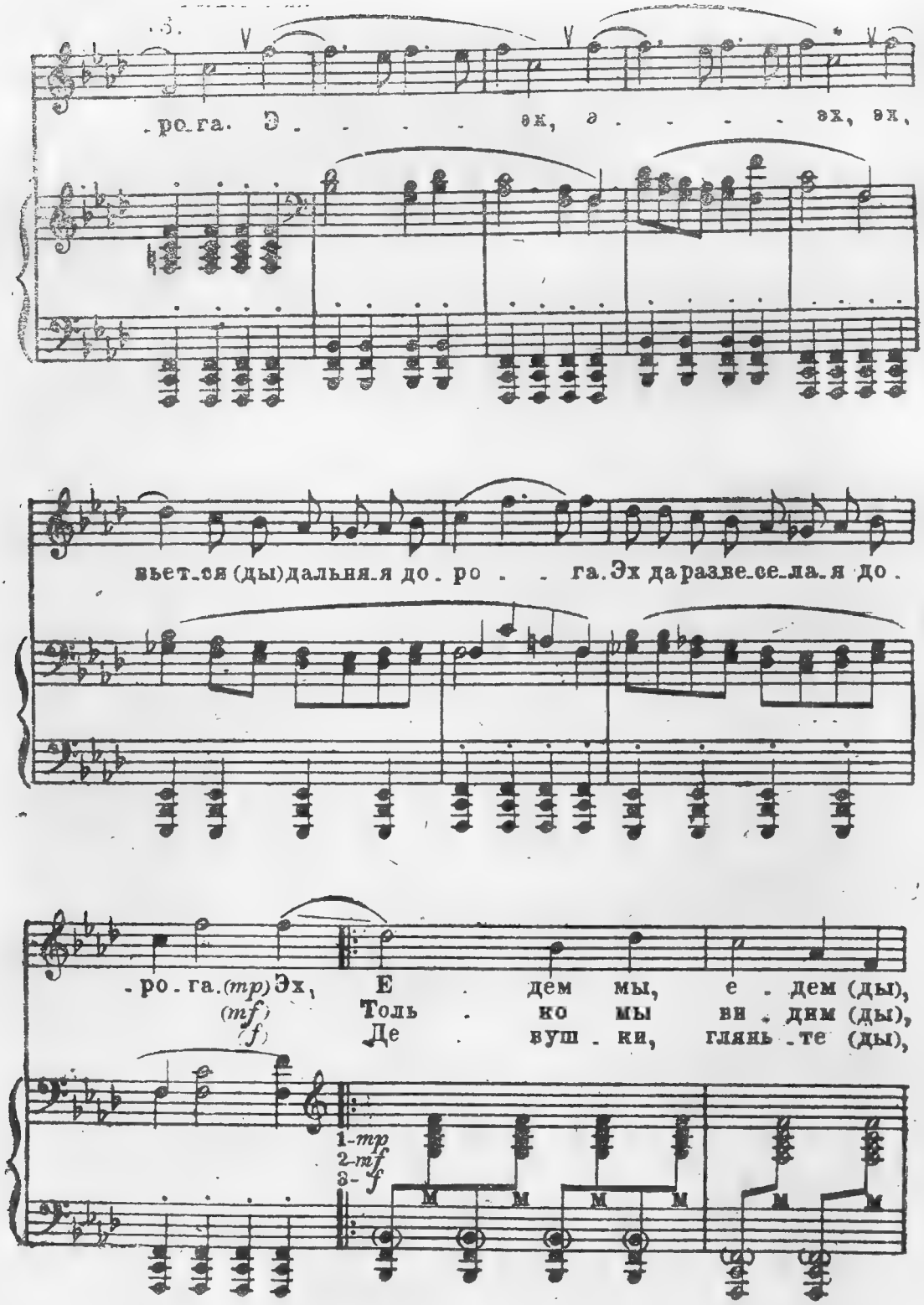
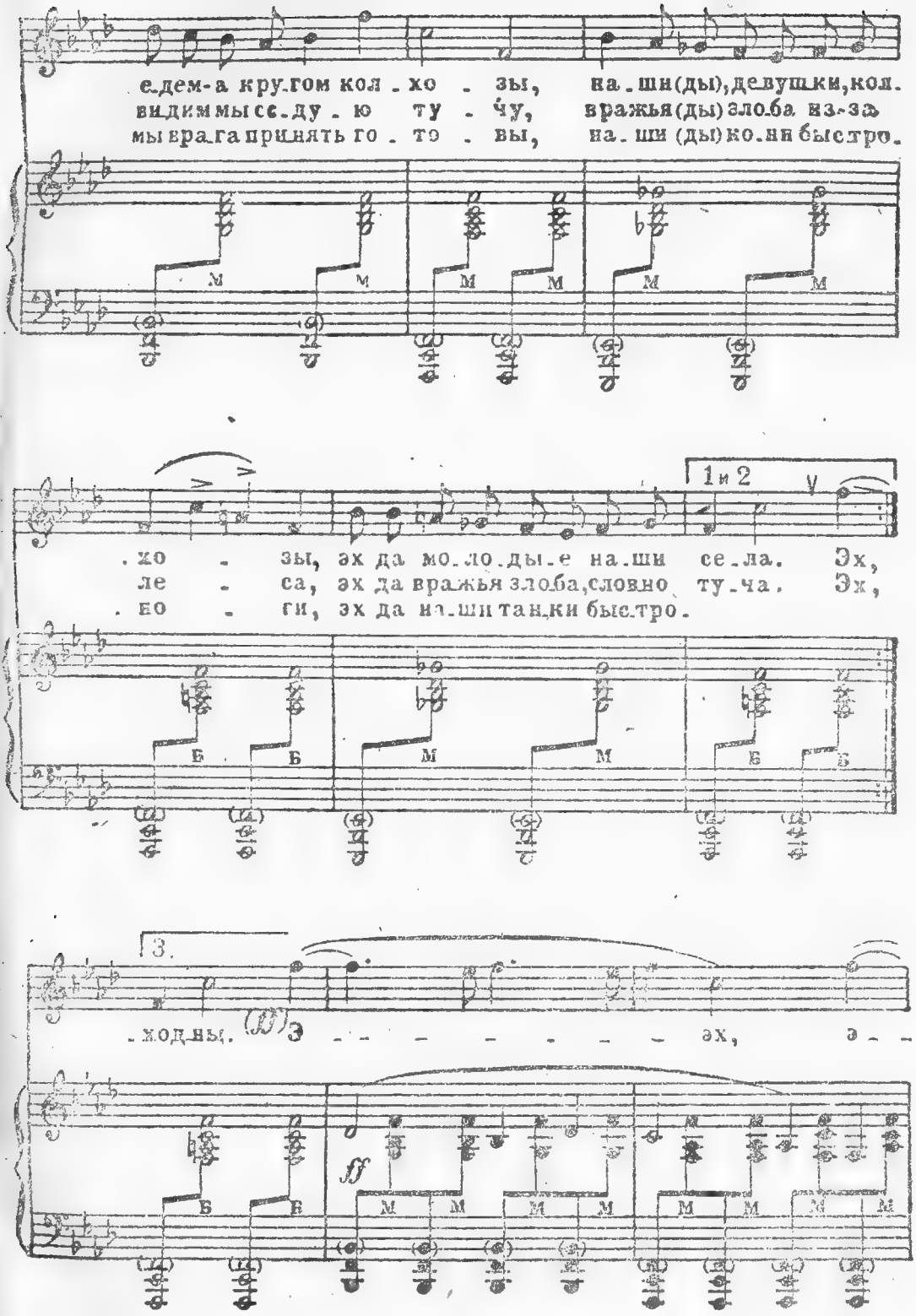
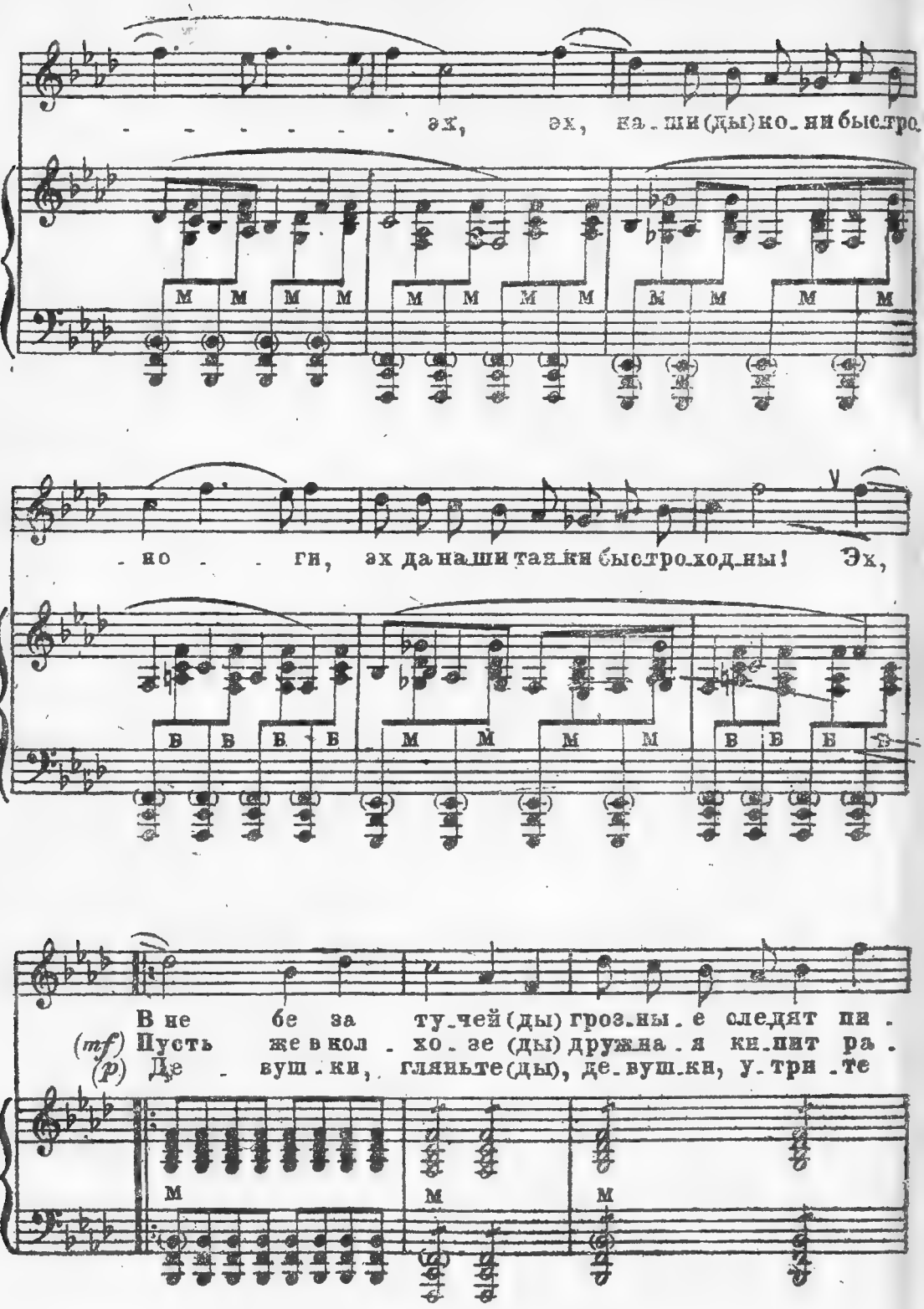
Где-то плещут океаны,
Спят медузы на волне.
В зоопарке пеликаны
Видят Африку во сне.
Черепаха рядом дремлет,
Слон стоит, закрыв глаза;
Снятся им родные земли
И над землями гроза.

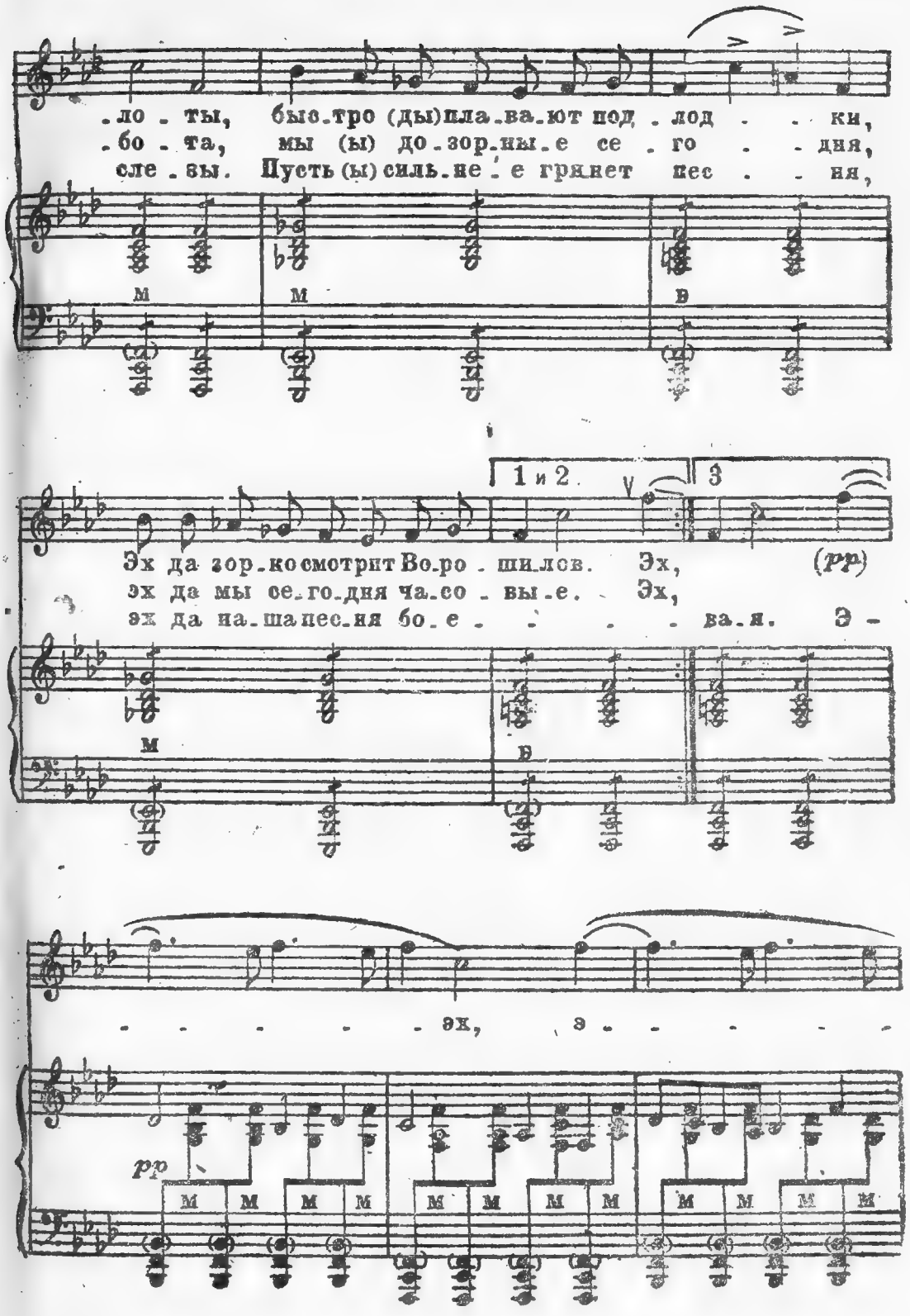
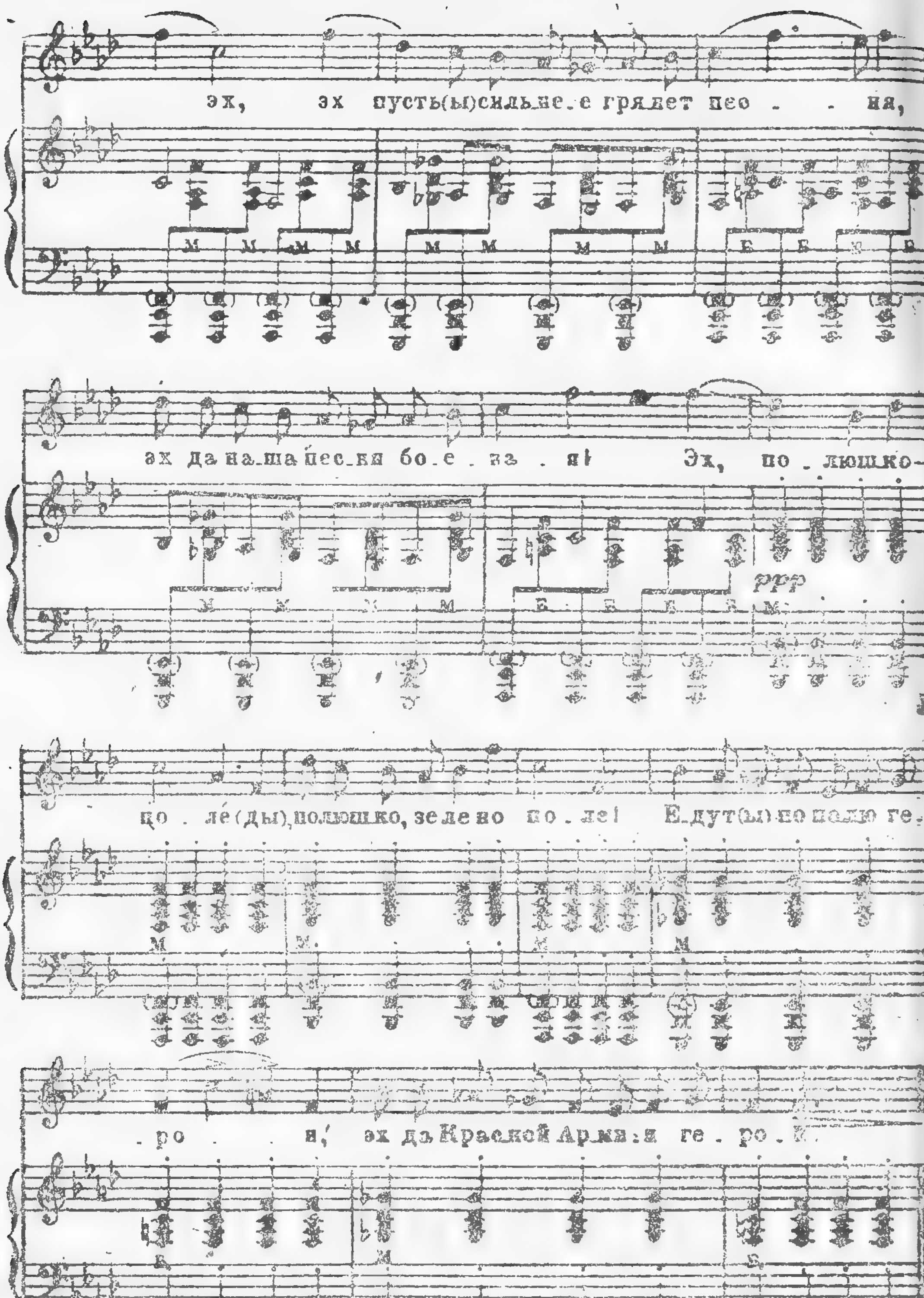
Ветры к югу повернули,
В переулках — ни души.
Сонно
На реке Амуре
Шевельнулись камыши.
Тонкие качнулись травы.
Лес, как вкопанный, стоит...

У далекой
У заставы
Часовой в лесу не спит.
Он стоит,
Над ним зарницы,
Он глядит на облака:
Над его ружьем границу
Переходят облака.
На зверей они похожи,
Только их нельзя поймать.

Спи. Тебя не потревожат.
Ты спокойно можешь спать.
Я тебя будить не стану.
Ты до утренней зари
В темной комнате,
Светлана,
Сны веселые смотри.
От больших дорог усталый,
Теплый ветер лег в степи,
Накрывайся одеялом,
Спи...

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

Слова *Виктора Гусева* Музыка *Льва Книппера*


-ро-га. Э - - - - эх, а - - - - эх, эх,
вьет-ся (ды) дальня-я до-ро - - га. Эх да разве-се-ла-я до-
-ро-га. (mp) Эх, (mf) (f) Е - дем мы, е - дем (ды),
Толь - ко мы ви - дим (ды),
Де - вуш - ки, глянь-те (ды),
1-mp
2-mf
3-f

едем-а кругом кол-хо-зы, на-ши(ды),девушки,кол.
видим мы сс-ду-ю ту-чу, вражья(ды)злоба из-за
мы врага приннять го-то-вы, на-ши(ды)ко-ни быстро.
1и2
.хо-зы, эх да мо-ло-ды-е на-ши се-ла. Эх,
ле-са, эх да вражья злоба,словно ту-ча. Эх,
.ео-ги, эх да на-ши танки быстро.
3.
.ходны. Э эх, э-
ff

эх, эх, ка_ши (ды) ко_ни быстро.
М М М М М М М М М М М М
но ги, эх да наши тан_ки быстроход_ны! Эх,
Б Б Б Б М М М М В Б Б
(mf) В не бе за ту_чей (ды) грозны_е следят пи .
(mf) Пусть же в кол_хо_зе (ды) дружна_я ки_пит ра .
(p) Де_вуш_ки, гляньте (ды), де_вуш_ки, у_три_те
м м м


.ло . ты, быс.тро (ды)пла.ва.ют под . лод . . ки,
.бо . та, мы (ы) до.зор.ны.е се . го . . дня,
сле . вы. Пусть (ы) силь.не . е гря.нет пес . . ня,
м
м
в
1 и 2
3
Эх да зор.ко смотрит Во.ро . ши.лов. Эх,
эх да мы се.го.дня ча.со . вы.е. Эх,
эх да на.ша пес.ня бо.е . . . . ва.я. Э -
(pp)
м
в
- - - - - эх, э - - - - -
pp
м м м м м м м м м м м м

эх, эх пусть(ы)сильне.е грянет пес - - ня,
эх да на.ша пес.ня бо.е.ва . я! Эх, по . люшко-
ppp
по . ле(ды),полюшко, зе.ле.но по . ле! Е.дут(ы) по полю ге.
ро . я, эх да Красной Ар.ми.и ге . ро .

Полюшко-поле,
Полюшко, широко поле!
Едут по полю герои.
Эх, да Красной Армии герои.

Девушки плачут,
Девушкам сегодня грустно,
Милый надолго уехал,
Эх, да милый в армию уехал.

Девушки, гляньте,
Гляньте на дорогу нашу,
Вьется дальняя дорога.
Эх, да развеселая дорога.

Едем мы, едем,
Едем, а кругом колхозы,
Наши, девушки, колхозы.
Эх, да молодые наши села.

Только мы видим,
Видим мы седую тучу,
Вражья злоба из-за леса.
Эх, да вражья злоба,
словно туча.

Девушки, гляньте,
Мы врага принять готовы,
Наши кони быстроноги.
Эх, да наши танки
быстроходны.

В небе за тучей
Грозные следят пилоты,
Быстро плавают подлодки.
Эх, да зорко смотрит
Ворошилов.

Пусть же в колхозе
Дружная кипит работа,
Мы — дозорные сегодня,
Эх, да мы сегодня часовые.

Девушки, гляньте,
Девушки, утрите слезы.
Пусть сильнее грянет песня.
Эх, да наша песня
боевая!

Полюшко-поле,
Полюшко, широко поле!
Едут по полю герои,
Эх, да Красной Армии герои.

Виктор Гусев

МОНОЛОГ МАТЕРИ

(Из пьесы «Слава»)

Дайте мне слово сказать.
На весь свет
Прозвучит мое материнское слово.
И это последнее слово я,
Рабочая мать, не залью слезами.
И пусть его слышат мои сыновья
Во Владивостоке,
в Москве,
в Казани.

Сыны мои!
Брат ваш Василий ранен.
Лежит ничком среди горя и мглы.
Над ним самолеты летят в тумане,
Над ним молодые кричат орлы.
Сыны мои!
Брат ваш спасал людей,
Близких,
родных,
неизвестных,
далеких.
Сыны мои — в воздухе, на воде,
В Москве,
Казани,
Владивостоке, —
Я прошу вас, рабочая старая мать,
Я хочу вас видеть в радости, в силе.
Но если придется вам умирать,
Будьте такими, как брат ваш Василий.
И если промчится от края до края
Весть, что подходят враги к рубежу,
Я вам сама белье простираю,
В походные сумки его уложу,
Открою окошко в своей квартире,
Махну вам рукой, провожая в бой...

С. Михалков

ДОРОГА

В глухую ночь, в холодный мрак
Посланцем белых банд
Переходил границу враг —
Шпион и диверсант.

Он полз ужом на животе,
Он раздвигал кусты,
Он шел наощупь в темноте
И обошел посты.

По свежевыпавшей росе,
Некошеной травой
Он вышел утром на шоссе
Тропинкой полевой.

И в тот же самый ранний час
Из ближнего села
Учиться в школу, в пятый класс,
Друзей ватага шла.

Шли десять школьников гуськом
По утренней росе,
И каждый был учеником
И ворошиловским стрелком,
И жили рядом все.

Они спешили на урок.
Но тут случилось так:
На перекрестке двух дорог
Им повстречался враг.

«Я сбился, кажется, с пути
И не туда свернул».
Никто из наших десяти
И глазом не моргнул.

«Я вам дорогу покажу», —
Сказал тогда один.
Другой сказал: «Я провожу.
Пойдемте, гражданин».

Сидит начальник молодой,
Стоит в дверях конвой,
И человек стоит чужой,
Мы знаем, кто такой.

Есть в пограничной полосе
Неписаный закон:
Мы знаем все, мы знаем всех —
Кто я, кто ты, кто он...

М. Тевелев

ЛЕКАРСТВО

Недавно мне пришлось побывать в механическом цехе одного из наших машиностроительных гигантов. Приехал я раньше времени и, в ожидании нужного мне человека, стал читать плакаты, приказы, распоряжения, которые висели на коричневой доске у конторы начальника цеха.

И вот в каком-то приказе меня привлек один пункт. Он был сух по форме, но не совсем обычен по содержанию:

«За нечуткое отношение со стороны администрации механического цеха к токарю О. М. Золотовской объявляю выговор начальнику цеха Бондареву».

Меня этот пункт очень заинтересовал. Обратиться за объяснением к начальнику цеха Бондареву, сами понимаете, было не совсем удобно. Но тут я заметил какого-то человека, он стоял невдалеке, возле умывальника, и вытирал руки. Я подошел к нему.

— Извините, товарищ,— сказал я,— может быть, вы объясните мне: за какое нечуткое отношение ваш начальник цеха получил выговор?

Он, видимо, понял, о чем идет речь.

— И совершенно правильный выговор, я бы сам подписал такой приказ.

Я посмотрел на своего собеседника.

— А, видимо, ваш начальник — изрядная скотина, если ему за нечуткое отношение выговор в приказе дают?

— Ну, изрядная скотина или нет, мне, признаться, трудно судить, но выговор справедливый, и я его вполне заслужил.

— Простите,— говорю я,— как вас понять?

— Понять,— говорит,— очень просто. Моя фамилия Бондарев, я и есть начальник цеха. Вы не смущайтесь. Зайдите ко мне в кабинет, посидите, расскажу, в чем дело...

Токарю Ольге Золотовской было двадцать лет. Она была знатным человеком завода. И пусть извинит меня Оля Золотовская, что я открою перед вами ее личную жизнь. К Ольге пришла любовь, правда, совсем не в урочное время, то-есть осенью, когда моросят дожди и люди зябнут на трамвайных остановках. Но ведь, сами понимаете, — любовь. Она заставляет видеть солнце сквозь дождь, зябкие ночи превращает в пленительные летние вечера. Чорт знает, какие чудеса может натворить любовь! Золотовская полюбила искренне, горячо и преданно, как только можно любить в двадцать лет.

Костя Истомин был хорошим парнем, но у него была немного неудобная специальность. Он был метеорологом, ну, знаете, из этих, которые погодой занимаются. И вот в один прекрасный

день, явившись на свидание, он, запинаясь и волнуясь, сообщил:

— Чорт знает, что получается! На Сахалине заболел метеоролог, и мне предложили через три дня отправляться во Владивосток, а затем на Сахалин.

Оля Золотовская растерялась: она хотела сегодня сообщить Косте другую весть, что, по всей вероятности, у них будет сын, но, видя состояние любимого человека, она воздержалась от такого сообщения и стала успокаивать Костю:

— Что значит в наше время расстояние? Это ведь ерунда, и кроме того — я тебя очень люблю, Костя.

Истомин оживился.

Так уехал из Ленинграда Костя Истомин на далекий остров Сахалин. Подходила к концу зима. Весть о том, что у Ольги Золотовской должен родиться сын, мигом облетела весь цех. Ее поздравляли, молодые и старые товарищи окружили Ольгу заботой, и будущий сын Золотовской становился цеховой гордостью.

Сыну Золотовской придумывали имена. Комсомолец Рогозин носил в своей записной книжке целый каталог имен, их насчитывалось уже штук двадцать пять.

И вот наступил день, когда Ольга Золотовская пришла уже не работать, а прощаться с товарищами. Она уезжала в заводской дом отдыха. От имени цеха слово на прощанье сказал старый токарь Осьмушко:

— Так имей, мамаша, в виду, когда тебе, значит; приступить... э... э... придет... пора, ты нам телеграмму, а мы тебя на директорской машине у вокзала встретим и доставим в полной сохранности.

Из дома отдыха Золотовская написала два письма: одно — Косте Истомину на далекий Сахалин, а второе — механическому цеху. Так и было написано на сером конверте: «Механическому цеху». О содержании первого письма мне говорить трудно, но второе письмо мне пришлось читать. Здесь было и о весне, и о работе, и просьба отвечать на письма. Письмо пришло к начальнику цеха Бондареву. Надорвав серый конверт и развернув листок, он прочел совсем не обыденные для хозяйственника, особенно в горячую пору, слова: «Здравствуйте, хорошие мои!» Но его позвали к телефону. Бондарев сунул письмо в какой-то ящик, и оно было забыто. Наконец пришло время Ольге Золотовской возвращаться обратно в Ленинград. Тогда в цех пришла телеграмма.

«Встречайте двадцатого. Ваша Золотовская».

Но и телеграмма в производственной горячке была куда-то положена и забыта.

Двадцатого числа Ольга Золотовская вышла из вагона на перрон, но ее никто не встречал. Обещанного автомобиля у подъезда не было. Чувство недоумения, а затем и обиды овладело Ольгой. Но она не могла допустить мысли о том, что о ней за-

были. Может быть, не дошла телеграмма? Но ведь и письмо осталось без ответа.

И вот рано утром, когда над городом проходил первый весенний ливень, у Золотовской родилась дочь. Ольга лежала в просторной светлой палате, смущенно, но тепло улыбаясь, как могут улыбаться молодые матери. В эти минуты она была счастливейшей из людей. Молодой безусый врач поздравил ее:

— У вас, товарищ, хорошая девочка, хотя нет, хорошая нас теперь мало удовлетворяет,— отличная девочка.

Потом врач ушел, и Ольга осталась одна. С затаенной завистью и обидой она следила за своими соседками, которые получали записки от мужей и родных, сквозь слезы она видела большие и скромные букеты цветов, переданные через сиделок от любимых людей. Ольга была одинока. Где-то далеко на Сахалине у нее был любимый человек, а друзья? Друзья, видимо, изменили ей.

Три раза в день на белой карточке медицинская сестра отмечала температуру Золотовской, и для врачей это были странные и непонятные цифры: тридцать семь и пять, тридцать семь и восемь. Так длилось десять дней. Врачи забеспокоились. Больная ни на что не жаловалась. Анализы крови и исследования тоже ничего не могли объяснить, и на десятый день, вечером, был созван консилиум. Маститые профессора произносили ученые речи, спорили, курили, рассуждали, и никто из них не заметил, как молодой врач, первый поздравивший Золотовскую с отличной девочкой, выскользнул из кабинета. Но он скоро вернулся. Вернулся в ту самую минуту, когда заговорил известный профессор. Молодой врач не дал говорить своему бывшему учителю. Он забыл о вежливости и о почтении, потому что был взволнован.

— Коллеги! — произнес он запинаясь.— Для меня ясна причина повышенной температуры. Больная одинока, ее никто не навещает, муж у нее где-то на Сахалине, и вот сиделка говорит, что когда в палату приносят передачи, Золотовская, уткнувшись лицом в подушку, плачет.

Не выслушав, что скажут старшие товарищи, молодой доктор быстро, на ходу снимая халат, сбежал в вестибюль и через полчаса был в проходной конторе завода. Было уже поздно. Ни директора, ни секретаря парткома на заводе не оказалось. И только после долгих уговоров и просьб ему удалось узнать домашний адрес директора.

Старый, седой холостяк, директор завода Иван Сергеевич Кочетов лежал у себя дома на диване, пытался читать газету и проклинал свою печень. Вдруг в комнату без предупреждения ворвался молодой человек и, опустившись на стул, сердито крикнул:

— Я врач родильного отделения больницы. Что вы делаете, товарищ директор. Ведь в человеке повышенную температуру десятый день держите!

— При чем здесь я? Я холост и никогда женатым не был!

— У вас в одном из цехов работает токарем Ольга Золотовская.

— Золотовская? Ну, конечно, работает, замечательно работает. Ну, что, родила сына?

— Не сына, а дочку.

— Ну, это формальности.

И врач рассказал директору о температуре, о слезах, о консилиуме и обо всем том, о чем вы уже знаете.

Рано утром у подъезда больницы остановилась директорская машина. Опираясь на палку, из машины вышел Кочетов, а за ним, нагруженный кульками и пакетами, токарь Осьмушко. Время было неурочное для приема, но предупрежденный швейцар их пропустил.

Дежурная сестра в пенсне на черном шнурке долго смотрела то на Осьмушко, то на Кочетова: она решила определить, кто из них отец, и почему-то обратилась к Кочетову:

— Вы отец?

Директор покраснел и закашлялся. Ему захотелось сказать, что он только директор, но дежурная сестра уже поздравляла его:

— Замечательная дочка. Хороший вес, и я бы даже сказала, что она на вас похожа.

— Гм... то-есть, как похожа?

— А очень просто, глаза ваши — это определенно, и рот ваш, вот посмотрите.

Дежурная приняла из рук няньки какой-то сверток и протянула его Кочетову.

Директору стало душно.

— Да, да, — мычал он.

А Осьмушко, разглядывая новорожденную, пришел в восторг.

— Ну, ну — прошептал он,— про эту девицу ничего не скажешь!

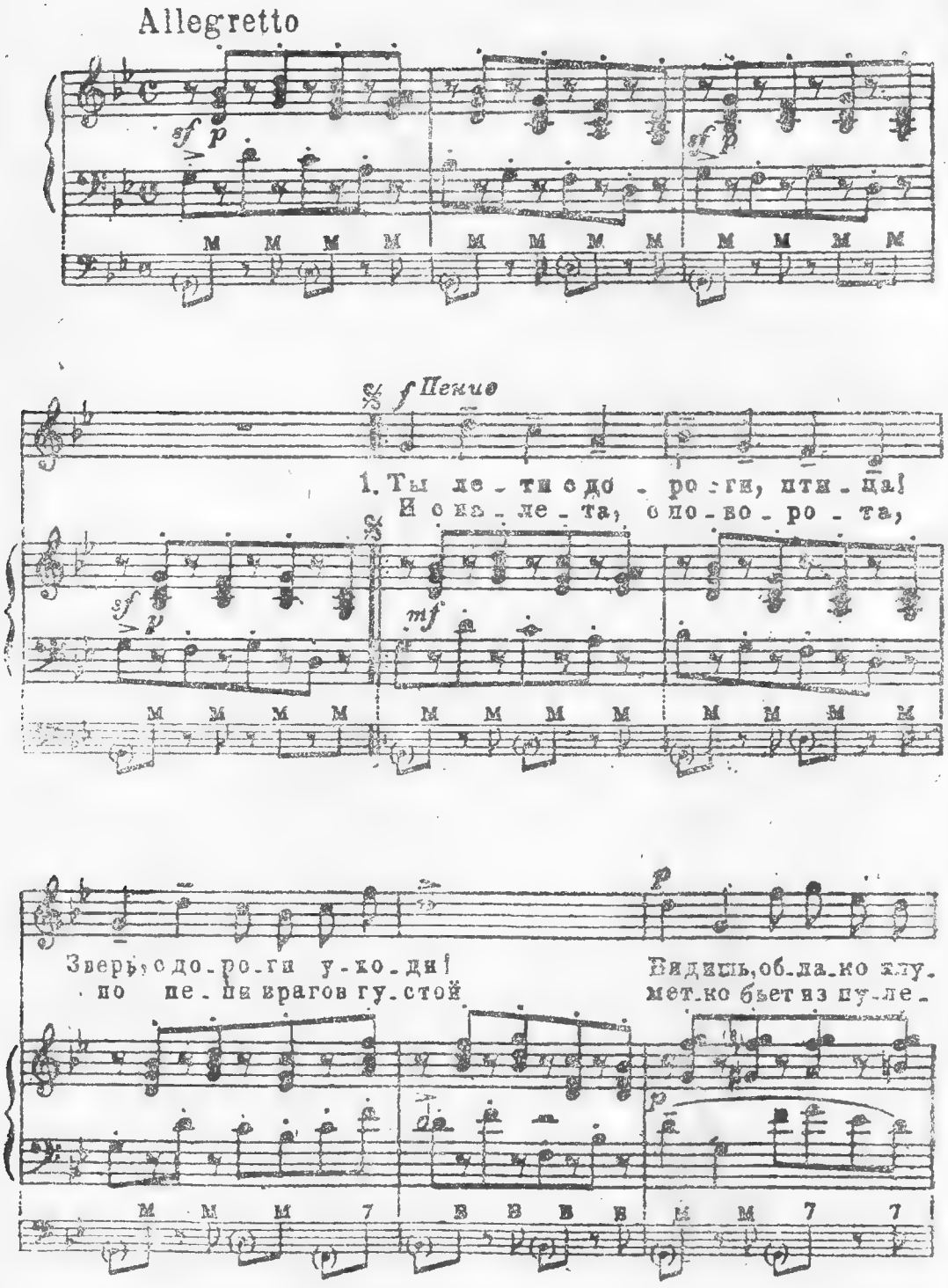
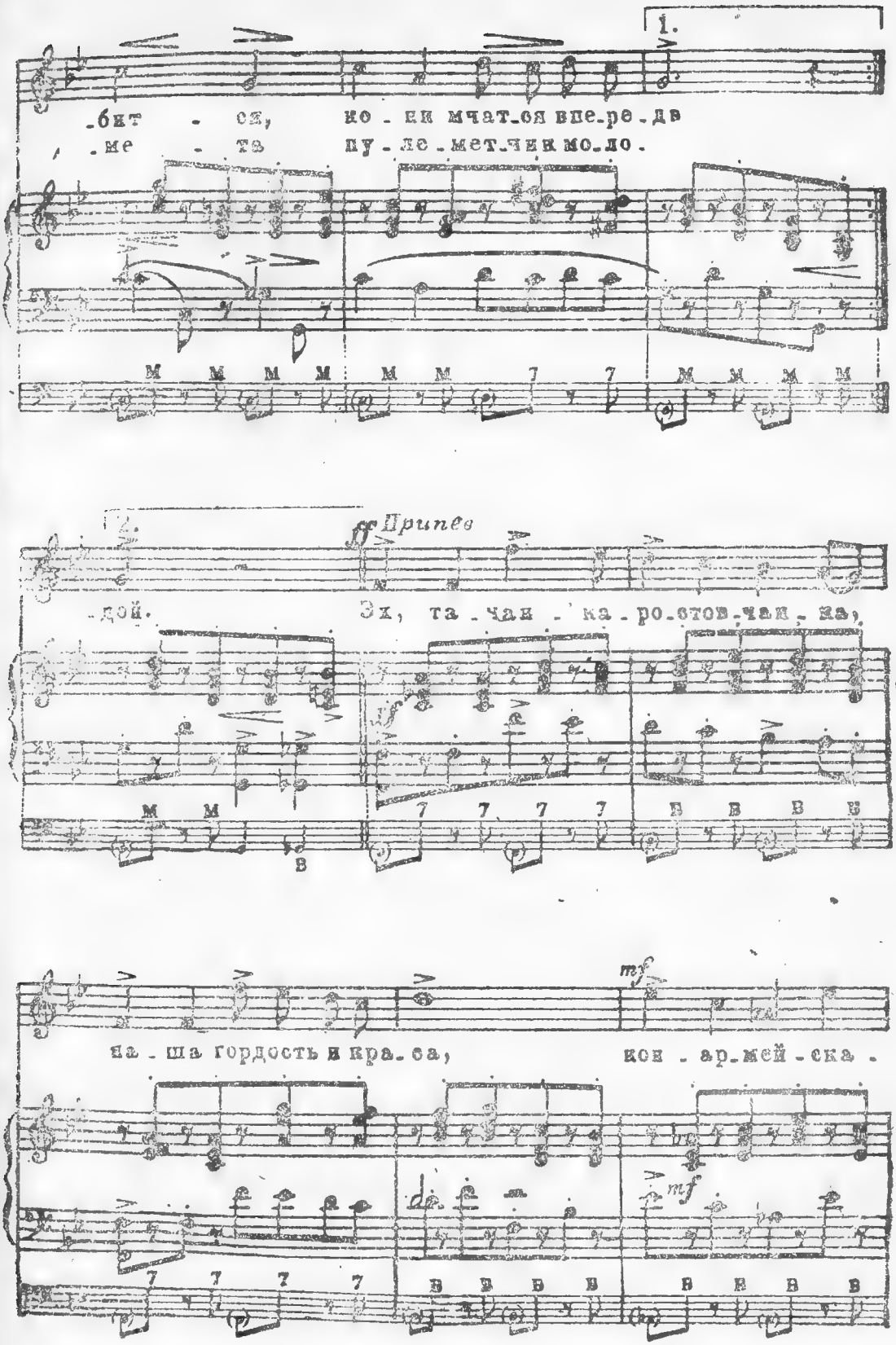
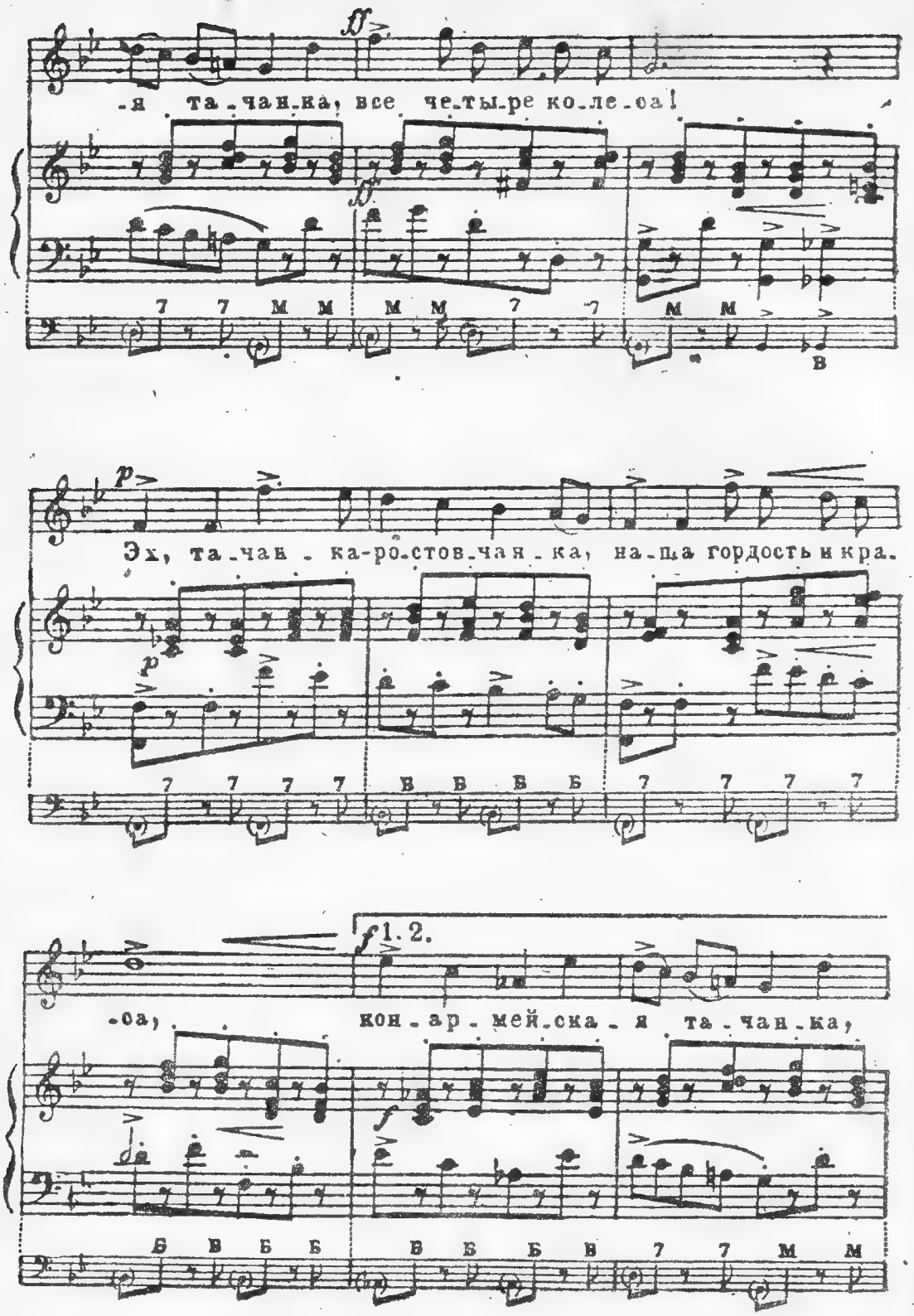
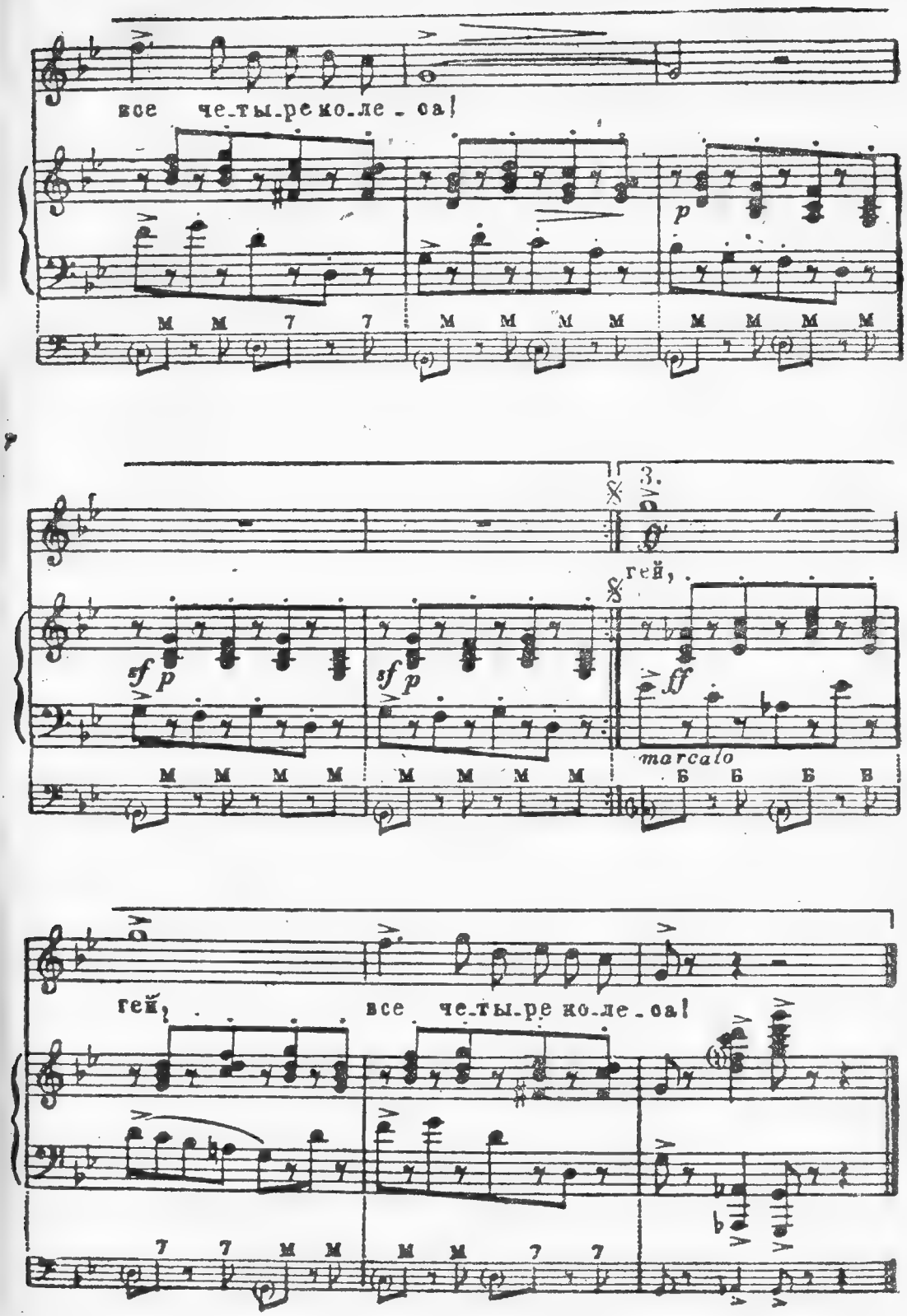
Когда Кочетов с мастером направились в палату Золотовской, дежурная сестра шепнула сиделке:

— Седой человек, а какой бравый мужчина... В такие годы... Это удивительно...

Но, несмотря на шопот, директор все расслышал. Он подтянулся и даже позабыл про печень.

К вечеру у Золотовской температура упала, а в цехе, на коричневой доске появился приказ с выговором Бондареву за непрочитанные письма.

ПЕСНЯ О ТАЧАНКЕ

Слова *М. Рудермана* Музыка *К. Листова*

1.
-бит - ся, но - ги мчат_ся впе_ре - дв
-ме - ть пу - ле - мет_чик мо_ло -
2.
Припев
-дой. Эх, та - чан - ка - ро_стов_чан - ка,
на - ша гордость и кра_са, кон - ар_мей - ска -

-я та-чан-ка, все че-ты-ре ко-ле-са!
Эх, та-чан-ка-ро-стов-чан-ка, на-ша гордость и кра-
1. 2.
-са, кон-ар-мей-ска-я та-чан-ка,

все че-ты-ре ко-ле-са!
p
м м 7 7 м м м м м м м м
3.
гей,
sf p
sf p
ff
marcalo
м м м м м м м м Б Б Б В
гей,
все че-ты-ре ко-ле-са!
7 7 м м м м 7 7

Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи,
Видишь, облако клубится,
Кони мчатся впереди!
И с налета, с поворота,
По цепи врагов густой
Застрочит из пулемета
Пулеметчик молодой.

Припев:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка,
Все четыре колеса! — 2 раза

Эх, за Волгой и за Доном
Мчался степью золотой
Загорелый, запыленный
Пулеметчик молодой.
И неслась неудержимо,
С гривой рыжего коня,
Грива ветра, грива дыма,
Грива бури и огня.

Припев:

Эх, тачанка-киевлянка,
Наша гордость и краса,
Комсомольская тачанка,
Все четыре колеса! — 2 раза

По земле грохочут танки,
Самолеты петли вьют,
О буденновской тачанке
В небе летчики поют.
И врагу поныне снится
Дождь свинцовый и густой,
Боевая колесница,
Пулеметчик молодой.

Припев:

Эх, тачанка-полтавчанка,
Наша гордость и краса,
Пулеметная тачанка,
Все четыре колеса! — 2 раза

Николай Хорьков

ВЫМПЕЛ

(Монолог)

Уважаемое товарищи-собрание! Мне дадено высказаться десять минут и нисколько более. Так что разрешите, конечно, ужаться в это короткое время и прямым курсом приступить. И также вторично разрешите, как я здесь вижусь со всеми по первости, то для личного знакомства объявиться, как я, конечно, бывший матрос первой статьи, Тихоокеанской эскадры, Никита Гордеев товарищ Бойцов, и всем мое флотское почтение.

Служил я, безусловно, в русско-японскую войну и лично бывал в походах и сражениях на миноносце «Непреклонном». И имею за это личную заслугу: два боевых георгиевских креста третьей и четвертой степени, и которые до сей поры хранятся в сундуке у моей старухи.

Старуха моя, Аграфена Левонтьевна, конечно, существо женское и по своему малому горизонту хранит в том же сундуке, вместе с моими заслугами, также венчальные свечки, по случаю нашего бракосочетания, которое и совершилось без малого сорок годов тому назад. Ну, не успел я как следует отведать счастливой жизни с молодой Аграфеной Левонтьевной, как меня забрили и безо всяких назначили по моему здоровью служить во флоте.

И вот, уважаемое товарищи-собрание, в девятьсот четвертом году стояла наша эскадра у дальней крепости Порт-Артур. Наш миноносец «Непреклонный» не раз выходил, конечно, в море. И соприкасались мы с врагом, и вступали в бой, и так далее. Я состоял тогда сигнальщиком, как имел глаз сильно зоркий и даже достигал своим простым зрением самую дальнюю точку по окружающему горизонту.

И в один ранний час стою я на вахте, глаз не спускаю с флагманского крейсера и, как по уставу полагается, про себя скучаю... И об родном доме, и об Волге-красавице реке, о милом крае, о дружках своих, земляках скучаю... Ну, безусловно, и об старухе помечталось, как была она в ту пору из себя выдающая, спела-ягодка, и, конечно, не скрипела бесперечь на мужа, как происходит в настоящее время.

Да... И вдруг примечаю: на флагмане взвились сигналы: «Миноносцу «Непреклонному». Выйти в открытое море. Разведать противника. Исполнение донести» И точка наотмашь!

Той же секундой у нас, конечно, подана команда: «Дробь — похо-о-о-д! Свистать всех наверх!» И-и-их, забегали боцмана и унтера. И запе-е-ли дудки. И, как черти, летели из кубри-

ков братки-матросики, горохом рассыпались по своим местам. И вот уже на мостике, в полной походной форме, как из-под земли, вырос боевой командир — капитан второго ранга Андрей Павлович Васильев. Орел и умница! И сердцем был теплый до матроса.

Через секунду-время наш «Непреклонный» полным ходом идет мимо эскадры, и со всех кораблей нам сигналят: «Счастливого пути, боевой удачи». И точка наотмашь!

И вот кругом уже море-океан. И сизый туман, и небо, как серой ватой, простегано, и ни кляпа не видно! Командир по всем научным и морским данным целится в бинокль. И я с сигнальной вышки озираюсь на окружающее пространство.

— Сигнальщик, глядеть в оба!

— Есть, глядеть в оба, ваш-сок-родь!

И опять идем в туман заданным курсом. И каждый думу свою думает...

Через полчаса-время вдруг усматриваю внезапность:

— С левого борта судна под японским флагом!

Не прошло минуты, вторично докладаю:

— С правого борта второй вражий корабль!

Оглядываюсь по горизонту и дополнительно замечаю: в тыл к нам заходит третий неприятель!.. На «Непреклонном» стало тихо. И будто слышно, как у каждого кровь стучится в сердце. Глядим мы на командира и ждем, какой курс возьмет Андрей Павлыч и какое выйдет нам определение.

А оттуда заметили нас и подняли вполне нахальные сигналы: «Не открывать огонь. Предлагаю сдаться. Случае согласия поднять белый флаг. На размышление пять минут». И точка наотмашь!

И тут случилось неприличное и даже вполне поганое дело. Молодой мичник, барон Шервуд, а мы его, конечно, звали — Стервуд за то, что шкура был и драл матросов линьками за безделицу, так этот барон от страха вовсе потерялся, бросился в кают-компанию и тащит оттуда белую скатерть! А у самого зубы дробь пардону выбивают, и шлепает он, пресноводный судак, при всех: «Поднять, дескать, белый флаг... поднять». Мы так и ахнули, а которых даже передернуло, потому что нет гаже смотреть, когда человек от заячьей трусости сопли размазывает! Командир Андрей Павлыч, капитан Васильев сделался страшный и весь багровый... Ни слова не говоря, он вынимает револьвер... и никто не успел перевести дыхание, как барон Стервуд рухнул замертво на палубу!.. Царство ему небесное, сволочь был, а не моряк!..

Ровно сквозняком, обдало всех от этого выстрела, и каждому ясно-понятно стало: дескать, держись, браток! И не размачивай

свою матросскую соленую душонку пресной трусливой слезой! А командир Андрей Павлыч повертывается ко мне и на весь корабль рубит большими словами:

— Просигналишь неприятелю: «Русские моряки родине не изменяют. Себя не продают». И точка настмашь!

И немедля команда: «К бою-у-у!» Кончилось вежливое размышление. Началась дробь-баталия — один против трех!

Уважаемое товарищи-собрание! Официально вам выдаю справку: русского форменного матроса трудно застращать смертью! Нервь у него, конечно, просмоленный... Но в ту пору волос на голове подымался, и дыханье защемило.

С трех вражьих кораблей открыли по нас ураганный огонь. И наш миноносец кидался из стороны в сторону и сам, безусловно, посылал гостинца за гостинцем. И вышли бы мы к благополучию, как не раз выходили, ежели бы не попал снаряд в машинное отделение. В машину угодил, дьявол! Стоп машина!.. Потеряли мы управление и закачались, конечно, вполне глупой скорлупкой...

И тогда начался разбойный расстрел русского боевого корабля. Один за одним стали падать люди. И ту страшную минуту не забыть мне до гроба...

Прошло, быть может, с полчаса-время, а может всего пяток минут, или полсуток, — не могу я в точности обозначить, только внезапно утихло все. До того стало тихо, что душе беспокойно и жутко сделалось. И от этого я зачал кричать! Стою с сигнальными флагами и кричу в море:

— Где же командир миноносца капитан Васильев?

Лежит ничком храбрый моряк, и не подаст он больше боевой команды, вечный ему упокой...

— А где старый офицер лейтенант Крылов?

Также погиб во славу русского флота...

— А лейтенант Завьялов? Мичман Саутин? И все наши господа офицеры?

Погибли все до единого!

— А боцман где, седоусый Карпыч? Где вы все, братки мои, дружки-годочки?.. Кто остался живой? Откликнись!

И вдруг гляжу, подымаются трое, будто не живые, а мертвецы... Но не сделали и двух шагов бедняги, как обратно пали мертвыми своими костями на палубу...

Иду я по кораблю, как по могилам на погосте. Иду и считаю мертвых товарищей, и браточкам своим и начальникам последнюю перекличку делаю.

И вдруг сознаю, что на всем миноносце в наличности остался только один: матрос первой статьи сигнальщик Никита Бойцов... И тогда, действительно, сознаюсь... заплакал я... от

горя-обиды! Это страшно, уважаемое товарищи-собрание, остаться живому на мертвом корабле.

...Уже солнце занялось, и горизонт стал чистый, и примечаю я, что два неприятеля уходят, а третий дрейфует в отдалении и спускает шлюпку. Стряхнул я с себя обиду-горе и соображаю, что враг, мину ему в бок, замыслил нашего «Непреклонного» забуксировать.

Так нет, думаю, врешь! Кто теперь командует русским миноносцем? Я — командир, я — русский рядовой матрос! И по воинскому уставу нет мне такого уполномочия, чтобы сдавать корабль врагу! Так не будет же того, чтобы мой «Непреклонный» шлепал за тобой, как побитый кутенок на привязи!

И той же минутой отдаю, конечно, краткую команду:

— Сигнальщик Бойцов! Спустить вымпел, что есть священное знамя корабля!

— Есть спустить вымпел!

И пошел наш флаг вниз, весь простреленный, и лег прямо в кровь, которая залила палубу. Свернул я знамя и туго закрепил эту драгоценную снасть у себя на груди.

И вторично подаю команду:

— Сигнальщик Бойцов! Открыть кингстоны... Потопить корабль!

— Есть... потопить корабль!

И все в точности исполнил. Хлынула вода в открытые кингстоны, и начал миноносец все больше и больше осадку делать. И встаю я тогда на последнюю вахту с сигнальными флагами и посылаю врагу окончательный сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь!» И точка наотмашь!

— Прощай, боевой корабль! Прощайте, братки родные! Вечный вам упокой... И вечная слава!

На доске от корабельной обшивки двое суток я дрейфовал, а когда подобрали меня с дозорного судна и в правильные чувства привели, то слышу — меня все дедом кличут, потому как в двадцать три года я стал седой, как лунь.

Как списали меня на берег и вступил я на родную землю, то, конечно, первым делом пожелал объявиться по начальству с рапортом: дескать, рассудите меня по морским статьям-уставам: по закону ли я поступил с миноносцем, и примите боевое знамя, как оно находится при мне под нательником.

Но начальства моего не оказалось. Слышно было, что царь, сухопутный капитан и бездельник первой статьи, Николай Романов, вполне подло поступил с народом. И в Санкт-Петербурге и в других городах и селениях приказал стрелять в людей и даже в малых ребят. А русское воинство много выстрадало в ту войну по царской подлости. И тогда плюнул я, сел в теп-

лушку и отдал концы: прямым курсом домой, к Аграфене Левонтьевне.

Дома положил вымпел в стеклянную посудину, задраил смолой и секретно зарыл в землю, под избой. И никому об этом до сей поры не сказал, а наипаче старухе своей, как, конечно, по своему женскому существу не в силах она держать свой язык на причале.

Уважаемое товарищи-собрание! Официально вам докладываю, что неоднократно собирался я в большой рейс — в город Москву, к уважаемому нашему Михаилу Ивановичу Калинину, чтобы лично отдать ему вымпел, как это есть, конечно, государственная вещь и не мне владеть ей. Да все сборы-то наши долгие, деревенские...

А два месяца тому назад захожу я вечерним бытом в колхозный наш клуб, как я, действительно, любитель газету послушать и что делается в мировом масштабе, и на суше, и на морях-океанах, и так далее.

И вдруг ясно-понятно слышу, как вычитывают, что некто, по фамилии Эпрон, поднял со дна моря старый русский миноносец «Непреклонный» и будто этот миноносец оснащается по новым научным и морским данным и обратно встает в строй.

И той же ночью послал я срочную депешу в наш дальний порт Владивосток, адмиралу Тихоокеанского флота. И той же секундой отдал боевой приказ старухе своей Аграфене Левонтьевне: собрать мне мой старый бушлат, и две пары чистого исподнего, и прочую матросскую исправную робу.

А через трое суток, по личной депеше адмирала, отдал я концы и взял прямой курс на Владивосток в курьерском поезде. Ехал семь суток на мягком бархатном диване и, конечно, не мог спать, потому что душа пришла в большое волнение.

Город Владивосток я отлично хорошо знаю по прежней бытности. И предполагал, что как сойду с поезда, так и затопаю без промедления в порт. Однако, как поезд причалил к дебаркадеру, то в вагон взошли молодые лейтенанты, братки-дальневосточники, и не дозволили мне вступить на землю, а на руках вынесли из вагона, так что мне даже совестно стало, и душа опять в легкую зыбь пришла.

Привезли меня на машине в порт и потом на моторном катере с поднятым вымпелом адмирала флота вышли на рейд.

Через короткое время подошли к новенькому красавцу-кораблю, и мне говорят, что это мой «Непреклонный», а я не могу глазам поверить, потому что это — чудо!

На миноносце спустили парадный трап. И впервой в жизни иду я по парадному трапу, который в старое время спускали

только для высочайших особ и адмиралов, но матросу отнюдь не дозволялось на него ногой вступать.

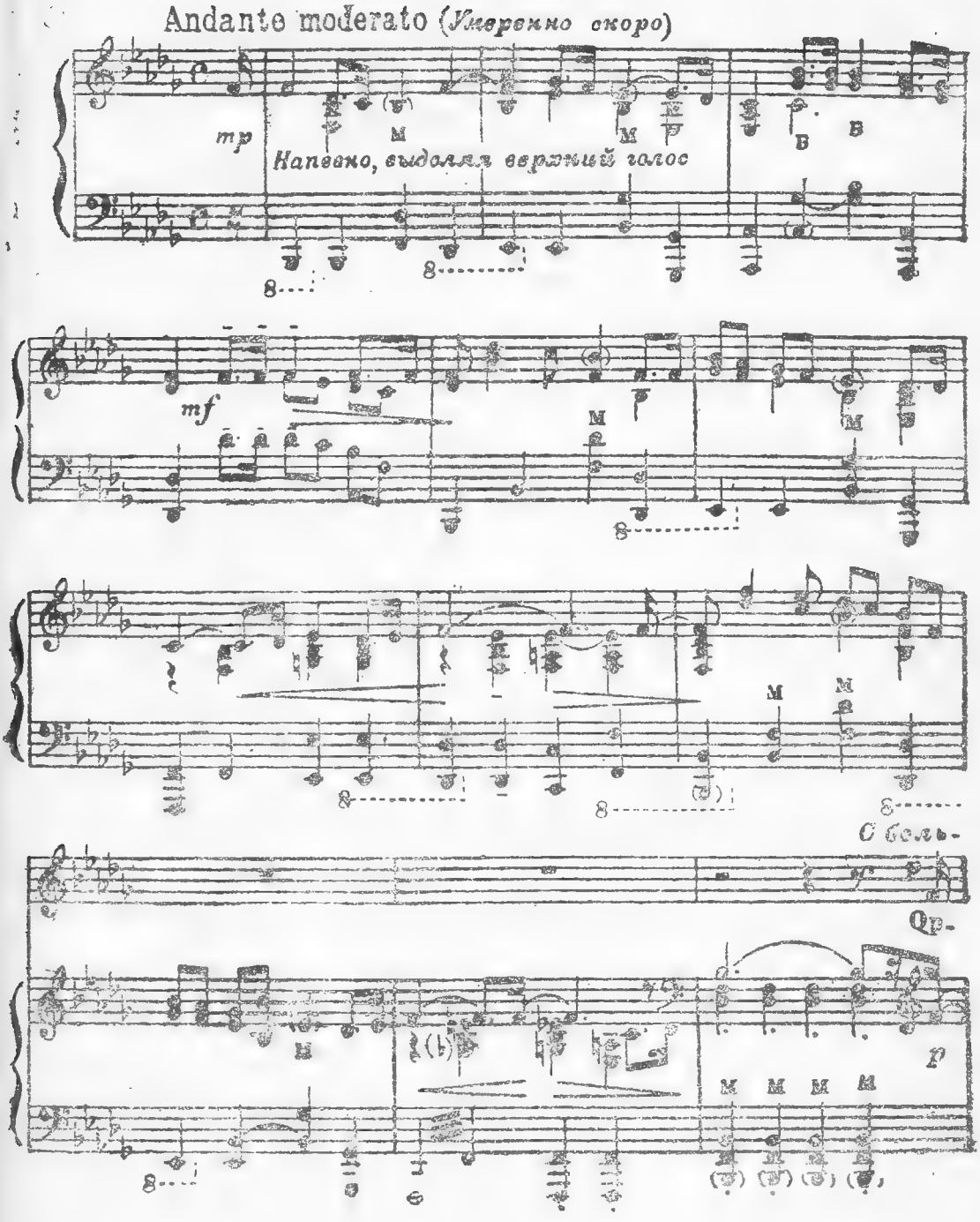
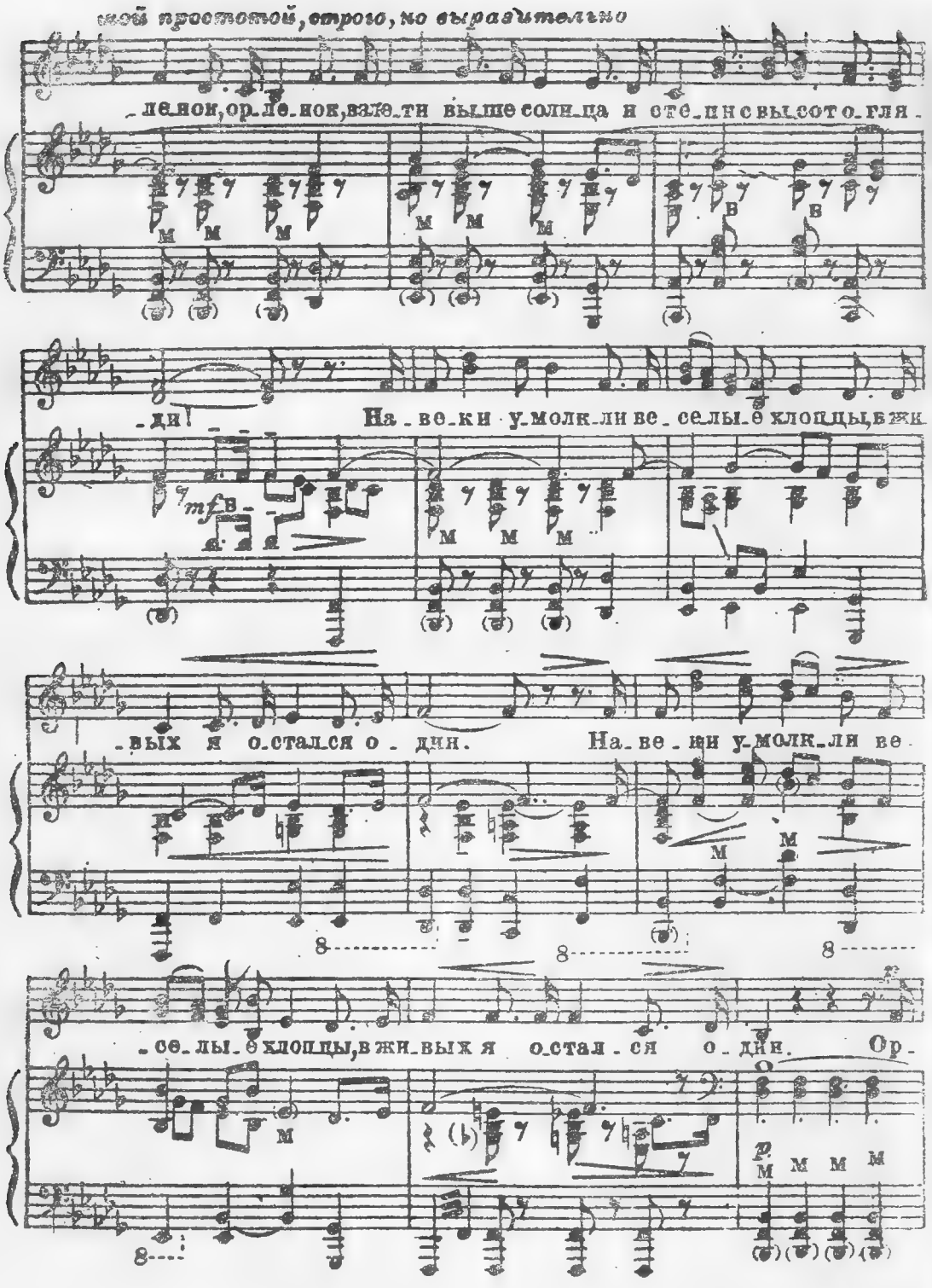
И вот, уважаемое мое товарищи-собрание, через тридцать шесть годов я обратно взошел на палубу родного корабля. Во фронт построена вся команда, и командир миноносца отдает мне рапорт, и оркестр заиграл «Встречу»... Ну, и получилось вполне даже конфузно, потому что слезы у меня ручьем хлынули, как у сухопутного судака. И крою я себя, конечно, мысленно самой соленой матросской словесностью: «Мину тебе в бок и в печенки, и так далее! Возьми свою душу на абордаж и веди себя форменно по статье-уставу, а не позорь при всем вахт-параде старое флотское сословие!» Ну, душа ровно маленько в правильный фарватер легла. Принял я, конечно, рапорт и поздоровался по статье-уставу с молодыми браточками. И руки уже не тряслись, как развязал я платок Аграфены Левонтьевны и развернул перед фронтом старый простреленный вымпел!

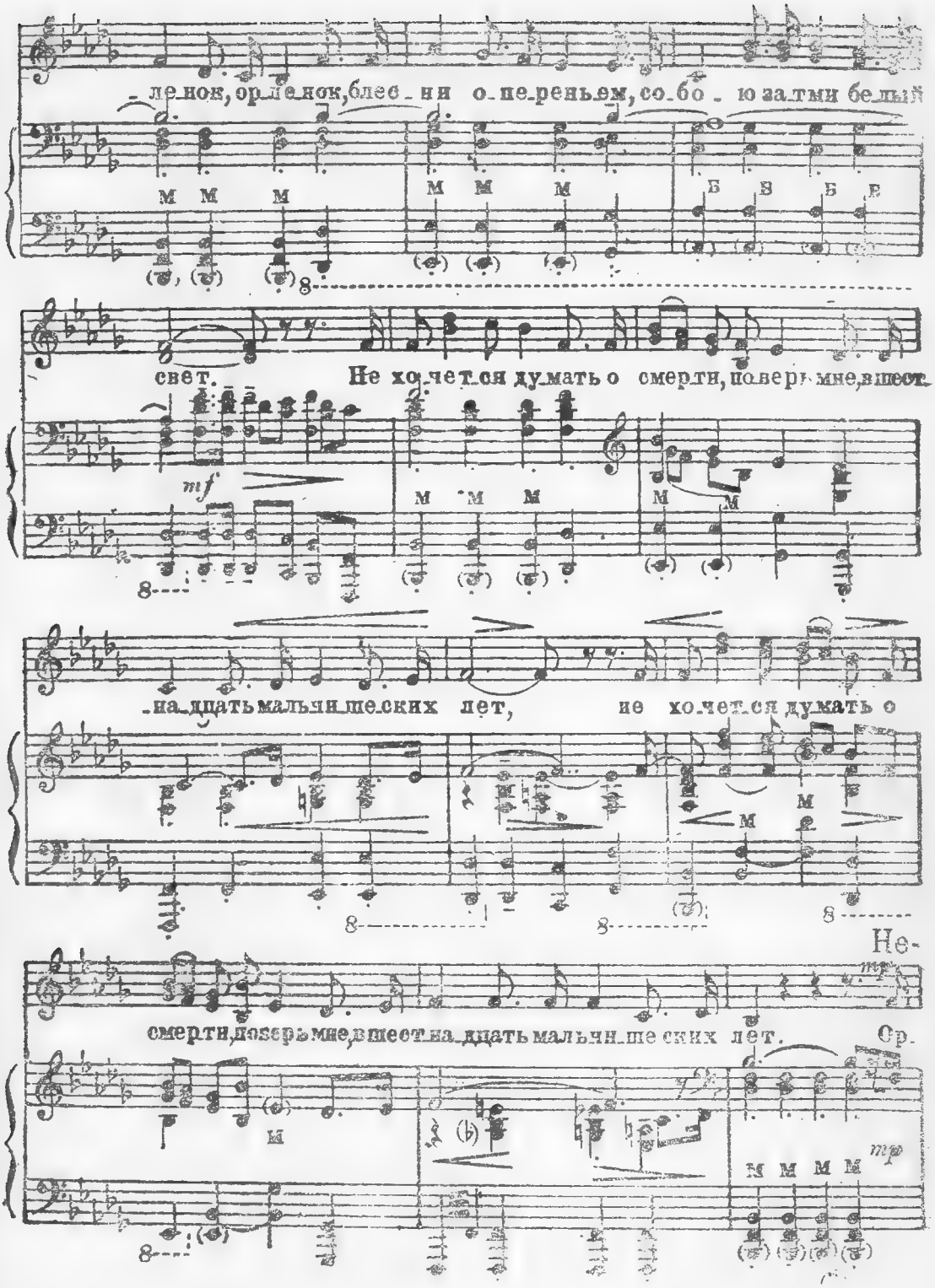
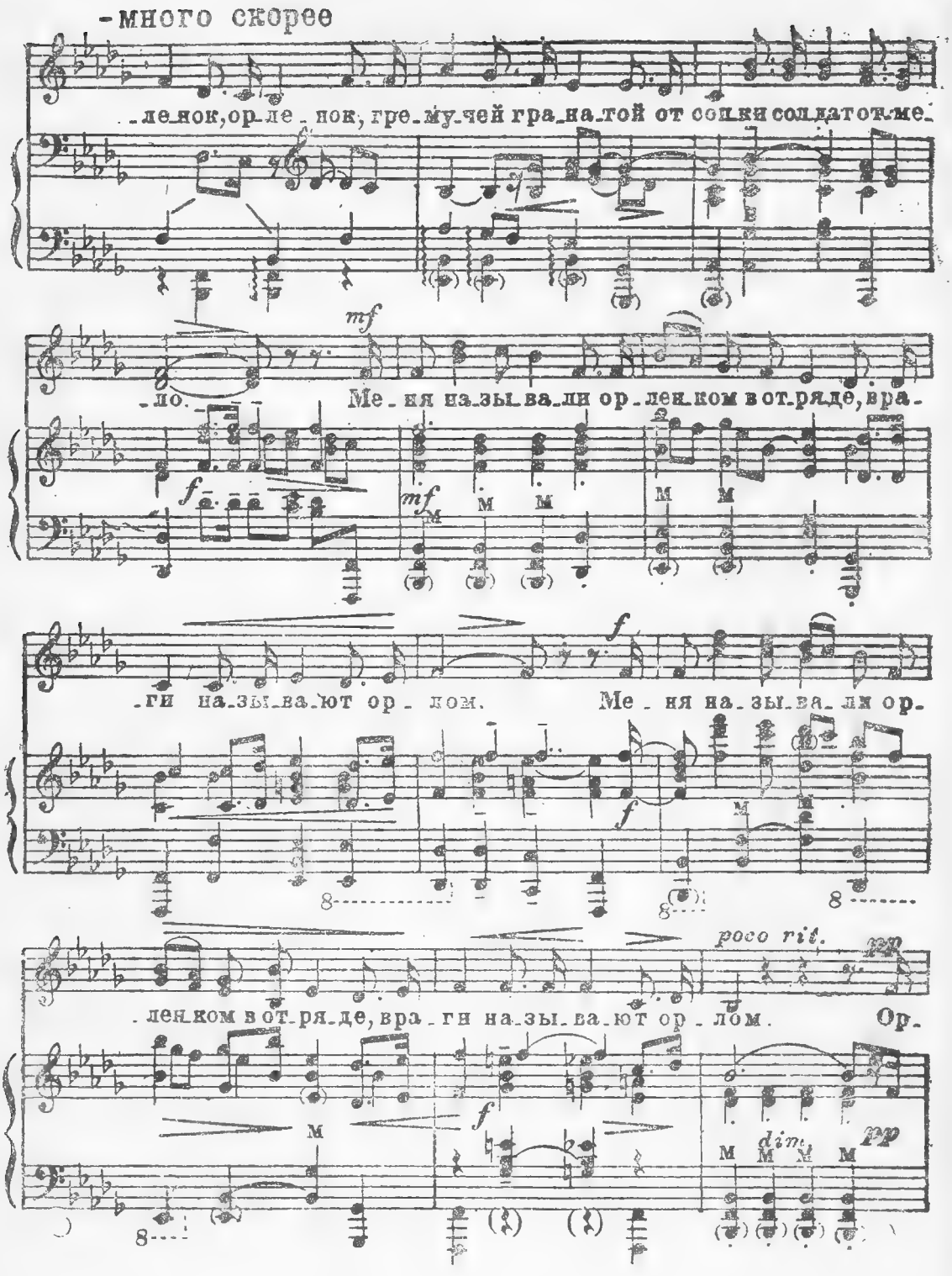
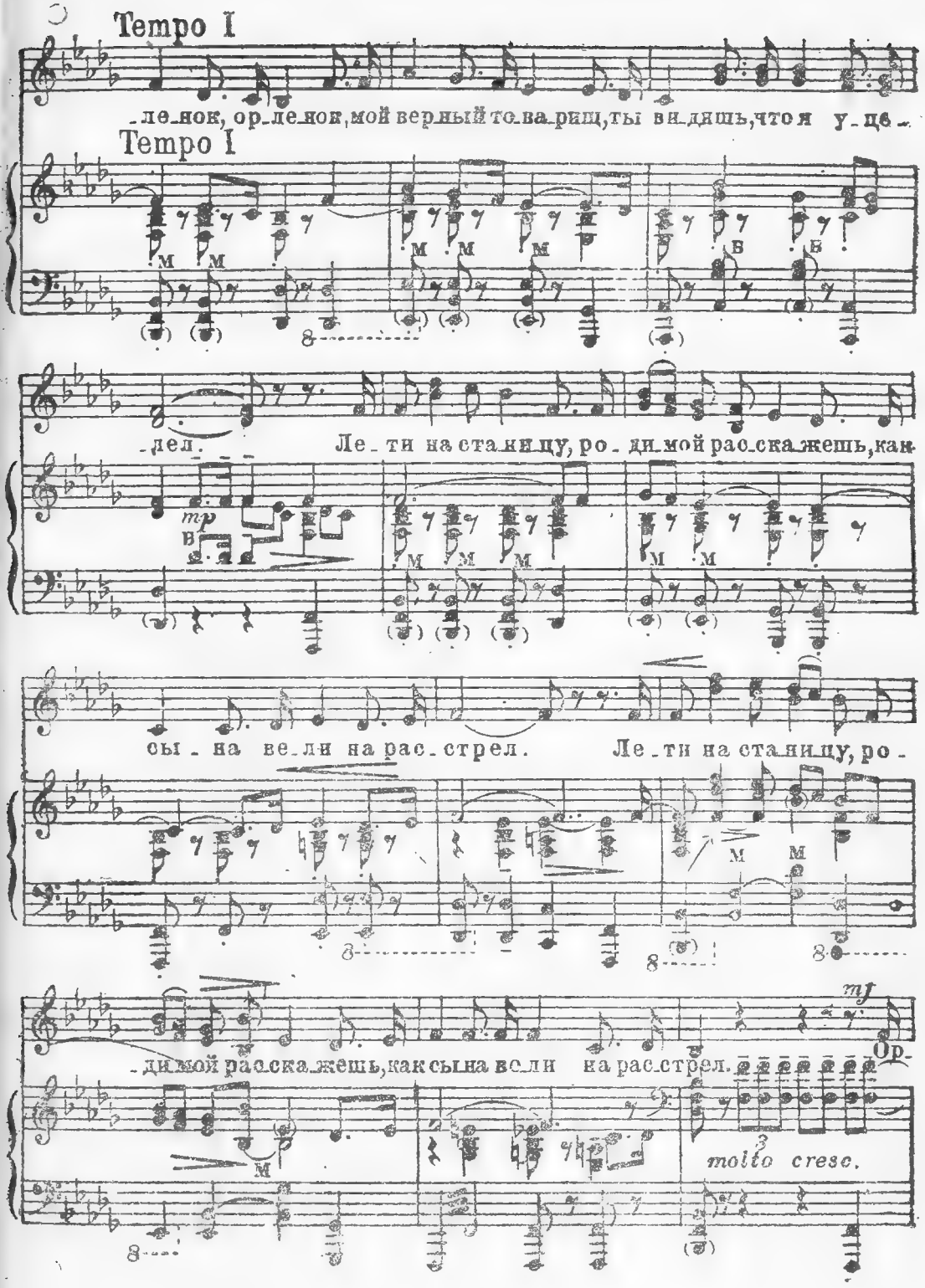
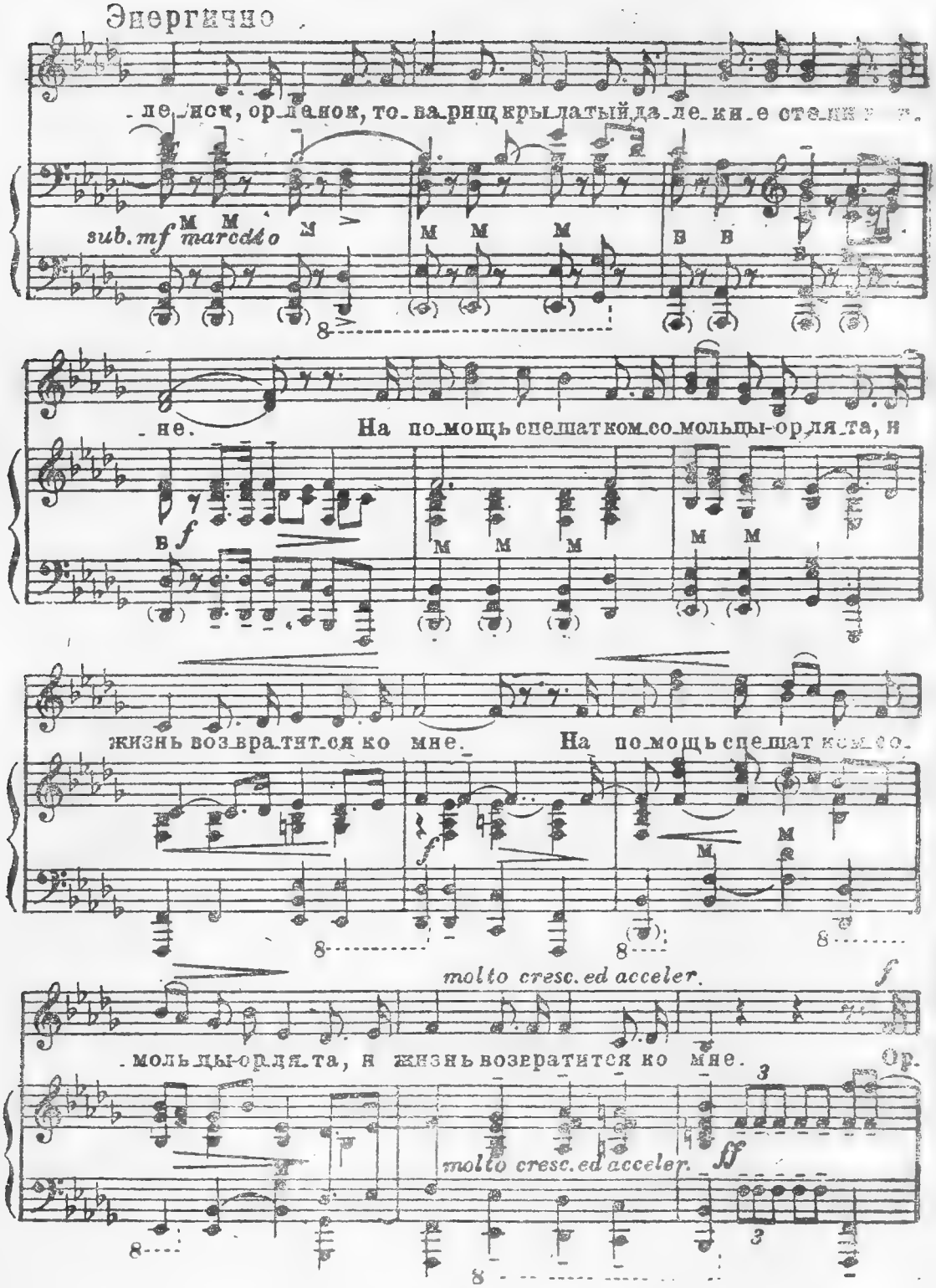
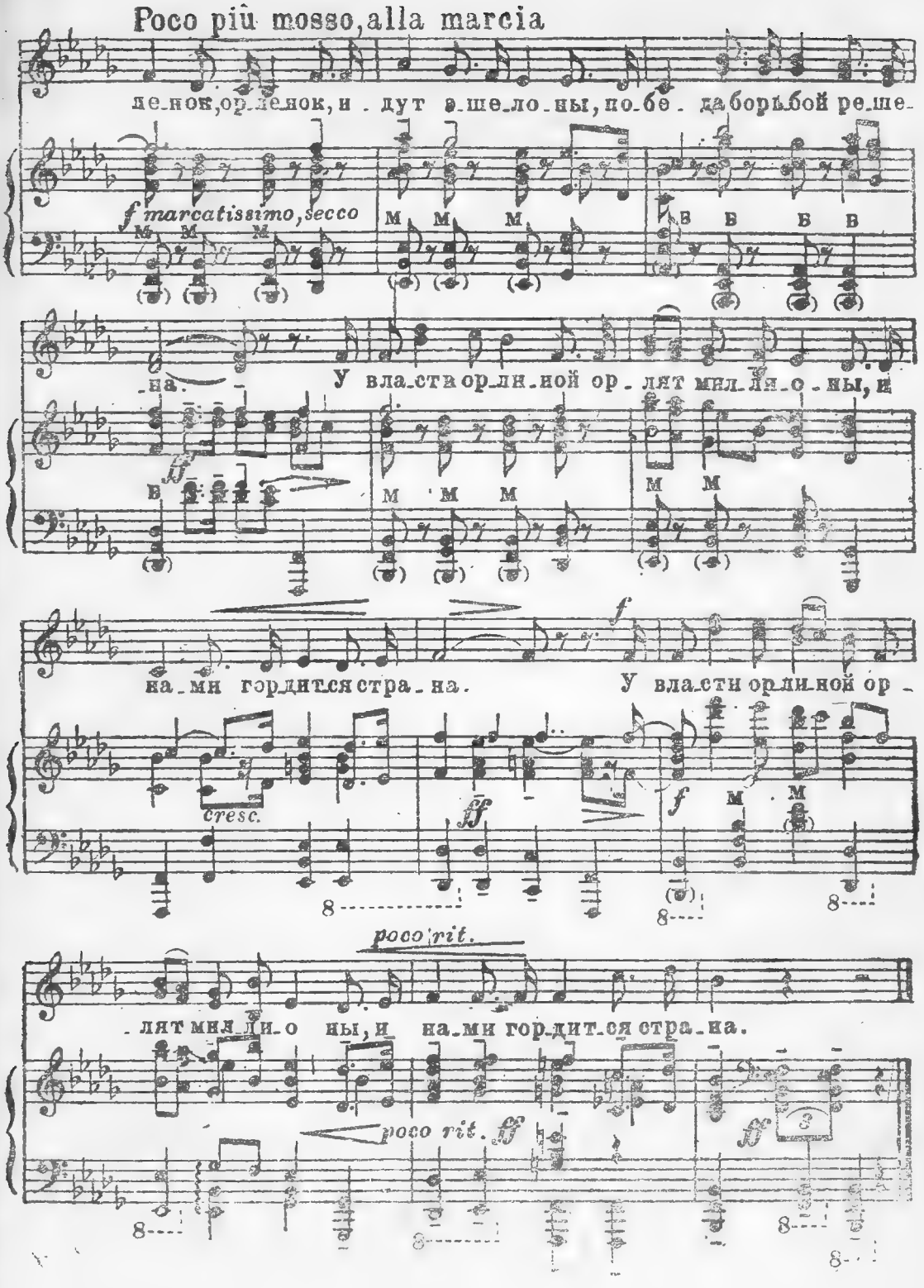
И той же секундой взвились сигналы на нашем миноносце, и со всех кораблей, сколько их ни стояло на рейде, загремел артиллерийский салют...

Ровно сбросили с моих плеч сорок годов жизни! И будто опять стою на вахте и передаю большой сигнал от молодого воинства советского красного флота.

Стоим «во фронт» и отдаем воинскую честь русским морякам, которые дрались и геройски умирали за родную землю, за свой народ, за честь русского флота! Вечная им за это слава! И точка наотмашь!

ОРЛЕНОК

Слова *Я. Шведова* Музыка *В. Белого*

мой простотой, строго, но выразительно
-ле-ной, ор-ле-нок, взле-ти выше соли-ца и сте-пи с вы-сото-гля-
-ди
На-ве-ки у-молк-ли ве-се-лы-е хлопцы, в жи-
-вых я о-стал-ся о-дин.
На-ве-ки у-молк-ли ве-
-се-лы-е хлопцы, в жи-вых я о-стал-ся о-дин.
Ор-

73

-ле-нок, ор-ле-нок, блес-ни о-пе-реньем, со-бо-ю за-тми бе-лый
свет. Не хо-чет-ся ду-мать о смер-ти, по-верь мне, в шест-
-на-дцать маль-чи-ше-ских лет, не хо-чет-ся ду-мать о
Не-
смер-ти, по-верь мне, в шест-на-дцать маль-чи-ше-ских лет. Ср.

-много скорее
-ле-нок, ор-ле-нок, гре-му-чей гра-на-той от сол-нца сол-дат от-ме-
mf
-ло.
Ме-ня на-зы-ва-ли ор-лен-ком в от-ря-де, вра-
f
mf
-ги на-зы-ва-ют ор-лом.
Ме-ня на-зы-ва-ли ор-
f
poco rit.
pp
-лен-ком в от-ря-де, вра-ги на-зы-ва-ют ор-лом.
Ор-
f
dim.
pp

Tempo I
-ле-нок, ор-ле-нок, мой вер-ный то-ва-рищ, ты ви-дишь, что я у-це-
Tempo I
-дел.
Ле-ти на ста-ни-цу, ро-ди-мой рас-ска-жешь, как
mp
сы-на ве-ли на рас-стрел.
Ле-ти на ста-ни-цу, ро-
mf
-ди-мой рас-ска-жешь, как сына ве-ли на рас-стрел.
Ор.
molto cresc.

Энергично
ле_ник, ор_ленок, то_ва_рищ кры_латый да_ле_ки_е сте_ли
sub. mf marcato
не.
На по_мощь спе_шат ком_со_мольцы-ор_ля_та, и
f
жизнь возвра_тит_ся ко мне.
На по_мощь спе_шат ком_со_
molto cresc. ed acceler.
f
мольцы-ор_ля_та, и жизнь возвратится ко мне.
Ор.
molto cresc. ed acceler.
ff

Poco più mosso, alla marcia
ле-нок, орленок, и - дут в ше-ло-ны, по-бе - да борьбой ре-ше-
f marcatissimo, secco
на.
У вла-сти орлиной орлят мил-ли-о-ны, и
ff
на-ми гордится стра-на.
У вла-сти орлиной ор -
cresc.
ff
f
poco rit.
-лят мил-ли-о ны, и на-ми гордится стра-на.
poco rit. ff
ff

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один. } 2 раза

Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет. } 2 раза

Орленок, орленок, гремучей гранатой
От сопки солдат отмело.
Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом. } 2 раза

Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел,
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел. } 2 раза

Орленок, орленок, товарищ крылатый,
Бурятские степи в огне.
На помощь спешат комсомольцы-орлята,
И жизнь возвратится ко мне. } 2 раза

Орленок, орленок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна. } 2 раза

НУ, И МОЛОДЕЖЬ!

Извините, пожалуйста, что я надоедаю вам своими личными, можно сказать, семейными делами. Не обижайтесь на старика и выслушайте меня со всей чуткостью, присущей вам, моим молодым друзьям. Я, знаете ли, люблю беседовать с людьми, чья голова еще не украсилась мудрой лысиной. Но не в этом дело.

Я хочу вам пожаловаться на своих детей. На Борьку и на Клаву. Сам я учитель. Ничего особенного. Вот уже лет тридцать как преподаю в школе арифметику для малышей. Свое дело я знаю. Работа очень спокойная. Пятью пять — двадцать пять. Семью семь — сорок девять.

Но не в этом дело.

Я вам не назову своей фамилии. Не потому, что я ее стыжусь или собираюсь менять. Фамилия у меня всю жизнь была негромкая. По совести, не Бетховен или, скажем, Генрих Гейне. Но с недавних пор фамилия моя стала очень беспокойная. Как только ее назову, сейчас же гром аплодисментов: «Ура!» Прямо деваться некуда. Начинаются крики: «Это — отец Бориса и Клавдии таких-то». Скажите, пожалуйста, какая важность. Да, новые времена. Когда-то люди вешали в своих квартирах портреты предков. А теперь наши квартиры мы украшаем портретами потомков. Когда-то говорили: «Вы знаете, кто это такой? Это сын генерал-губернатора, это племянник банкира». А теперь: «Это знаете кто? Это отец Каманина, это мать Марии Демченко, это бабушка Стаханова». Более того, когда-то говорили: «Вот идет жена писателя Тургенева, вот едет жена министра финансов». Теперь же слышишь: «Это муж знаменитой ткачихи такой-то». Все перевернулось, честное слово. Поэтому, чтоб не было лишнего шума, я и не называю своей фамилии. Ну ее! Но не в этом дело.

Итак, я хочу вам пожаловаться на своих детей. На Борьку и на Клаву. Начнем с Клавы. У нее есть подруга Марина. Так эта самая Марина не может ни минуты посидеть спокойно на месте. Ей не сидится с нами на земле. Она почти все свое свободное время там... Где-то возле звезд. На небе. Летает. И прыгает. Подымается черт знает куда, где не только человек, но и птица не бывала. Потом прыгнет оттуда и, как ни в чем не бывало, идет в кино. Но не в этом дело.

Дочка моя Клава не занималась прыжками. Я ей был за это очень благодарен. У нас в роду никто не летал, не прыгал, жили тихо. Клава работает на заводе, в лаборатории. Она у

меня химичка. Все было благополучно. Вот только сын Борька волновал меня. Спустился парень, можно сказать, на самое дно. Он, видите ли, водолаз, эпроновец. Не думайте, что я боюсь воды. Но все в меру. Окунусь два-три раза — и на берег, вытираюсь полотенцем. И то летом, если очень жарко. А этот Борька целыми днями гуляет по морскому дну. Я ему сколько раз твердил: «Борька, перестань мокнуть в холодной воде. Избери себе более сухую профессию». А он смотрит на меня и смеется! Вы не знаете, отчего это наши дети теперь так хорошо смеются? А? Но не в этом дело.

Вернемся к Клаве. Раз сижу я дома, пью чай и просматриваю тетради. Вдруг врывается в комнату очень странный молодой человек. Не то мексиканец, не то уругваец. Штаны до колен и в большую клетку. Странные штаны! Огромная фуражка, но козырек пришит не спереди, а сзади. Какие-то необычайные ботинки. И вдобавок ко всему этот полудикий незнакомец вооружен с ног до головы. Какие-то ремни, кобуры, сумки. Смотрю на него, разинув рот от изумления. Вдруг этот самый мексиканец говорит мне на чистом русском языке: «Разрешите представиться, кинооператор Альберт Пыжиков. Вы будете отец знатной химички Клавдии такой-то? Разрешите вас заснять». И тут он начинает меня крутить и мучить. То я должен улыбаться — это, значит, я радуюсь успехам дочери. То я должен сделать грустное лицо — это, значит, печаль по своей собственной загубленной молодости. Но не в этом дело.

Приходит Клава домой, и тут я узнаю большую новость. Клава сделала какое-то большое научное открытие. Она стала героиней. А я, между прочим, стал отцом героини. В газетах портрет Клавы и биография. Ей шлют поздравления. Ее премируют. Пожалуйста, я не против. По совести сказать, я даже рад. Лишь бы не летала и не прыгала. Но не в этом дело.

Слушайте дальше. Однажды в выходной день забегают ко мне в комнату Маринка и Клава. Тащат меня на аэродром. Там, говорят, будут сегодня интересные прыжки. Пошел. Только с Маринкой я условился, чтобы она при мне не прыгала: все-таки близкая подруга дочери, почти свой человек. А у меня сердце слабое — я не могу смотреть, когда даже с передней площадки трамвая прыгает какой-нибудь знакомый или родственник. Но не в этом дело.

Стою на аэродроме и смотрю, как самолеты подымаются ввысь. Прекрасное зрелище! Мое стариковское сердце билось от радости за крылатых людей, за летающую молодежь. Обернулся, вижу, Клавы нет подле меня. А Маринка мне говорит: «Она сейчас подойдет. Увидала заводских знакомых и пошла с

ними». Но тут уж, видите ли, не до Клавы. Люди стали прыгать с аэропланов. Что тут делается! Вдруг Маринка хватает меня за руку и кричит не своим голосом: «Бежим!» Хорошо ей говорить — «бежим». Это я должен бежать. Что я ей — братья Знаменские? Она меня тащит за руку, а я еле поспеваю. Но не в этом дело.

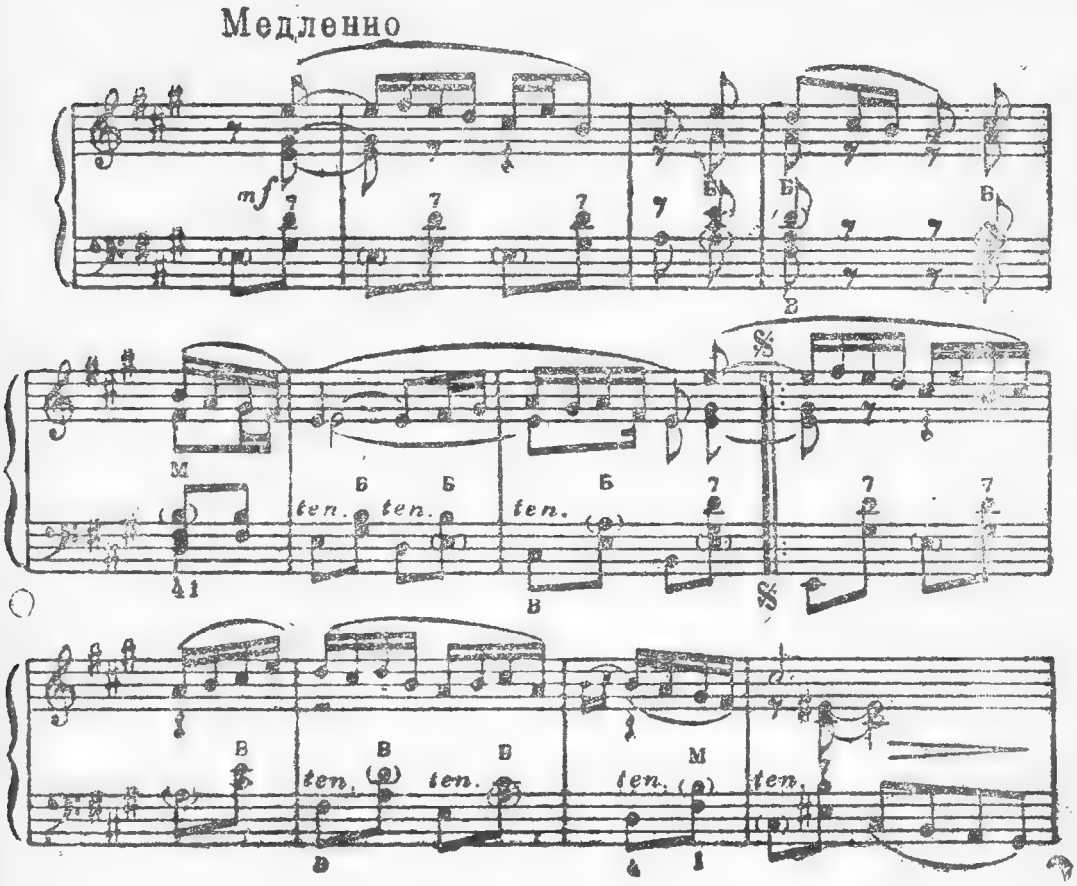
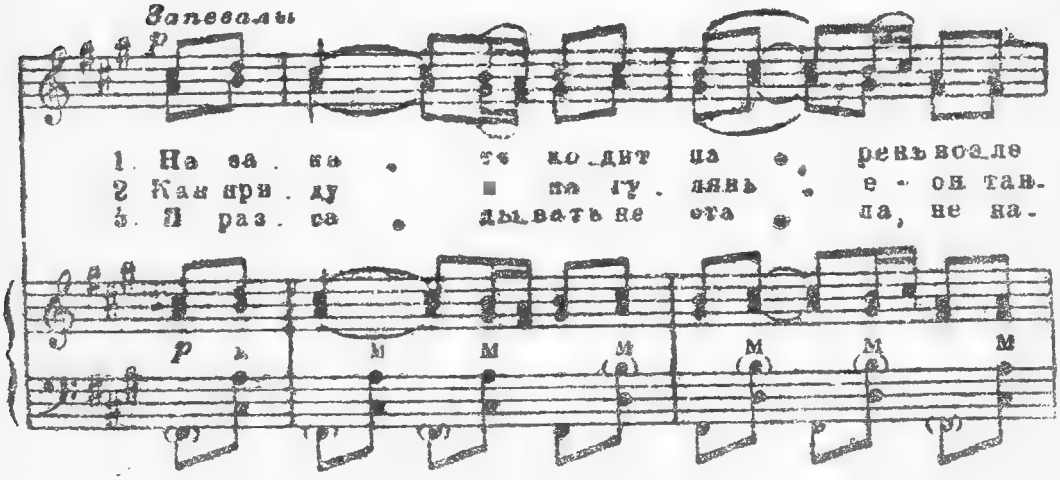
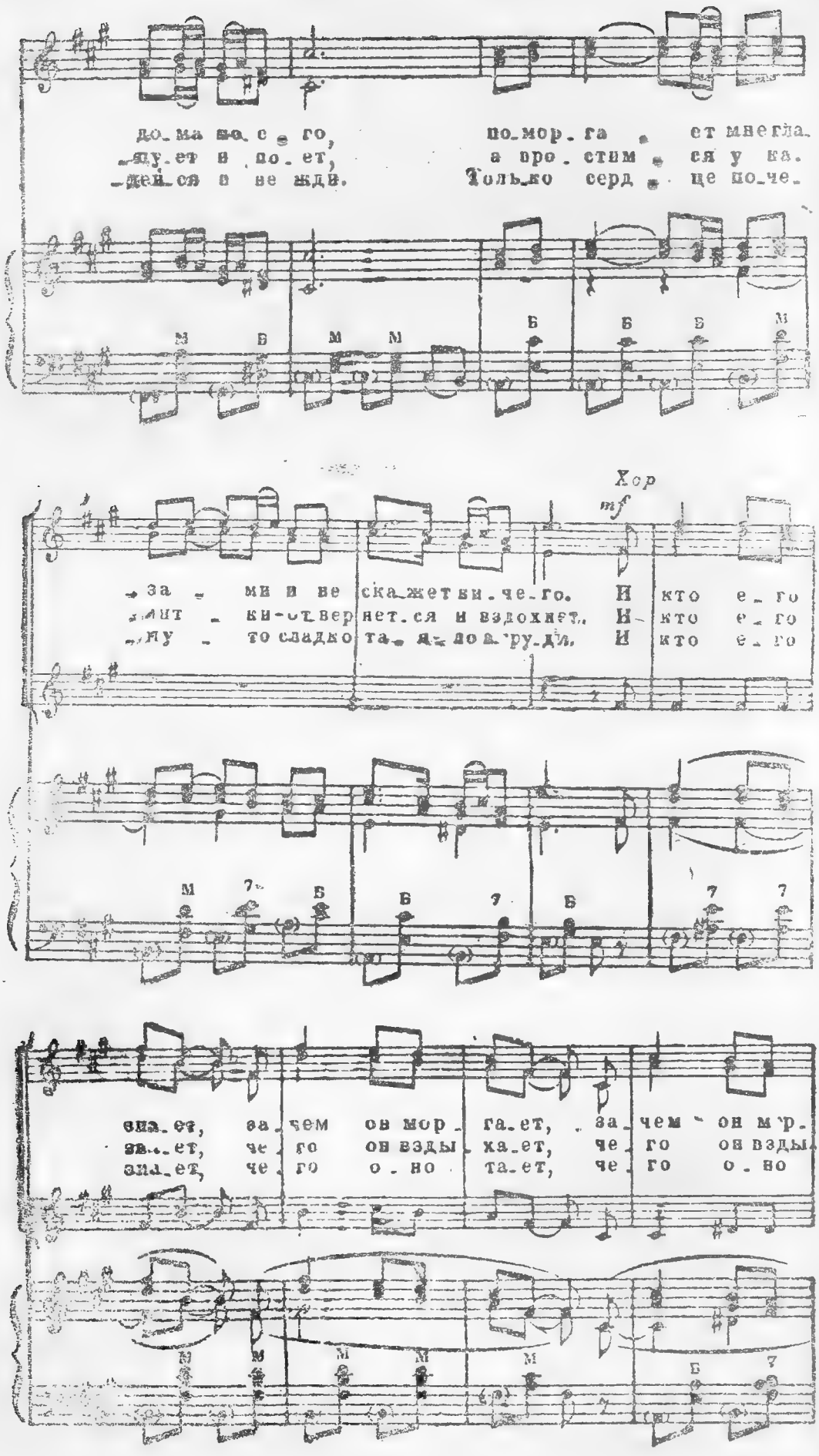
Прибегаем на какую-то полянку. Смотрю, кто-то сверху летит. А Маринка мне объясняет: «Это одна девушка прыгнула с парашютом. Замечательная девушка!» Я не спорю. Пускай будет замечательная. Я стою и думаю только об одном: «Если у этой замечательной попрыгуньи имеется отец, то я ему не завидую». Не успел я это подумать, как эта самая девушка уже на земле и бежит прямо к нам. Я смотрю на нее, и мне стало холодно. Когда я пришел в себя, я, конечно, раскричался: «Кто тебе разрешил шляться с утра где-то в облаках?» Смеется. Они же умеют хорошо смеяться. А я опять кричу: «Ты же химичка, зачем тебе, Клава, надо еще прыгать?» Отвечает: «Родине нужны и хорошие химики и хорошие парашютисты». Меня агитацией не возьмешь. Я продолжаю сердиться... А все-таки здорово чертовка прыгнула! Но не в этом дело.

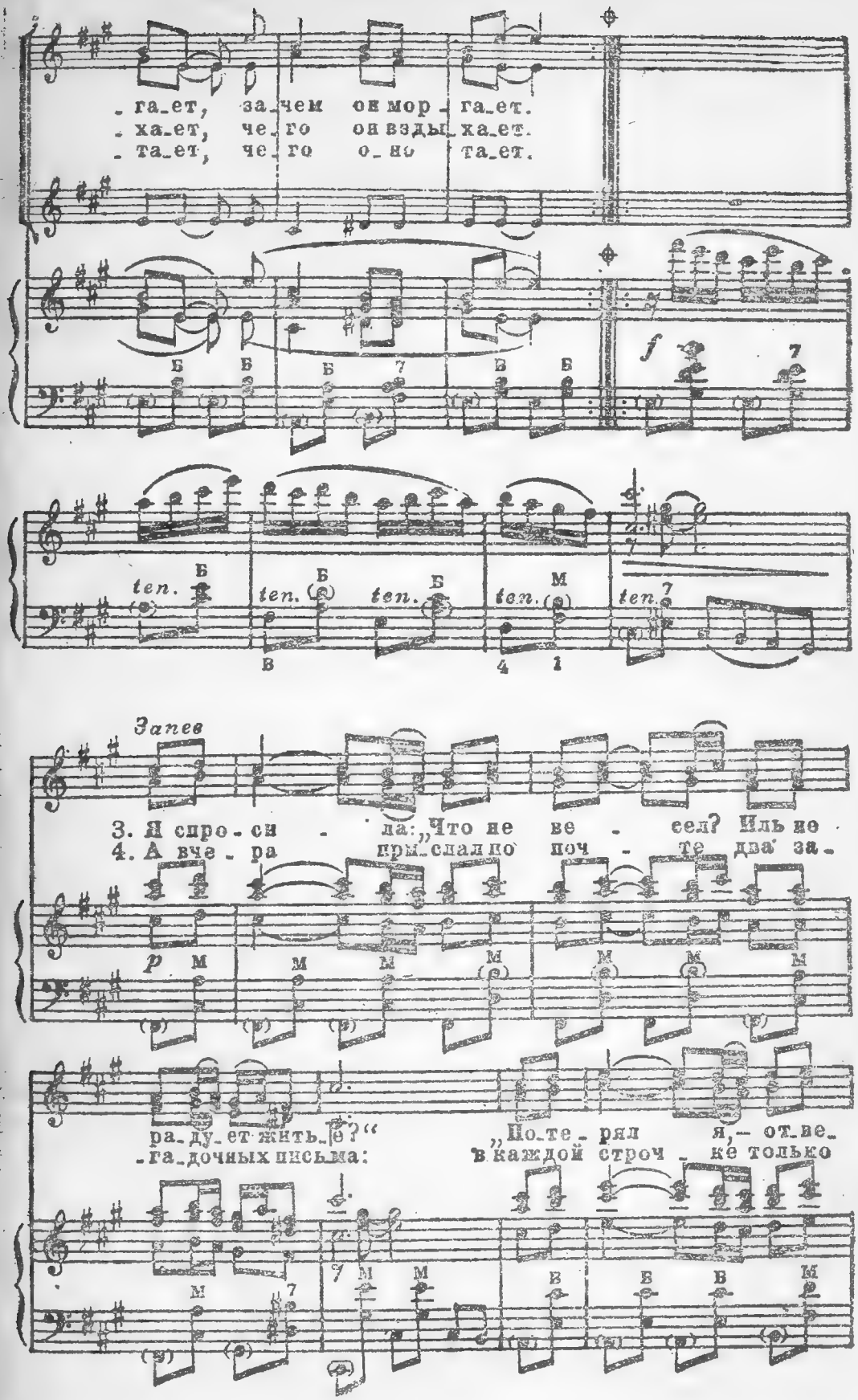
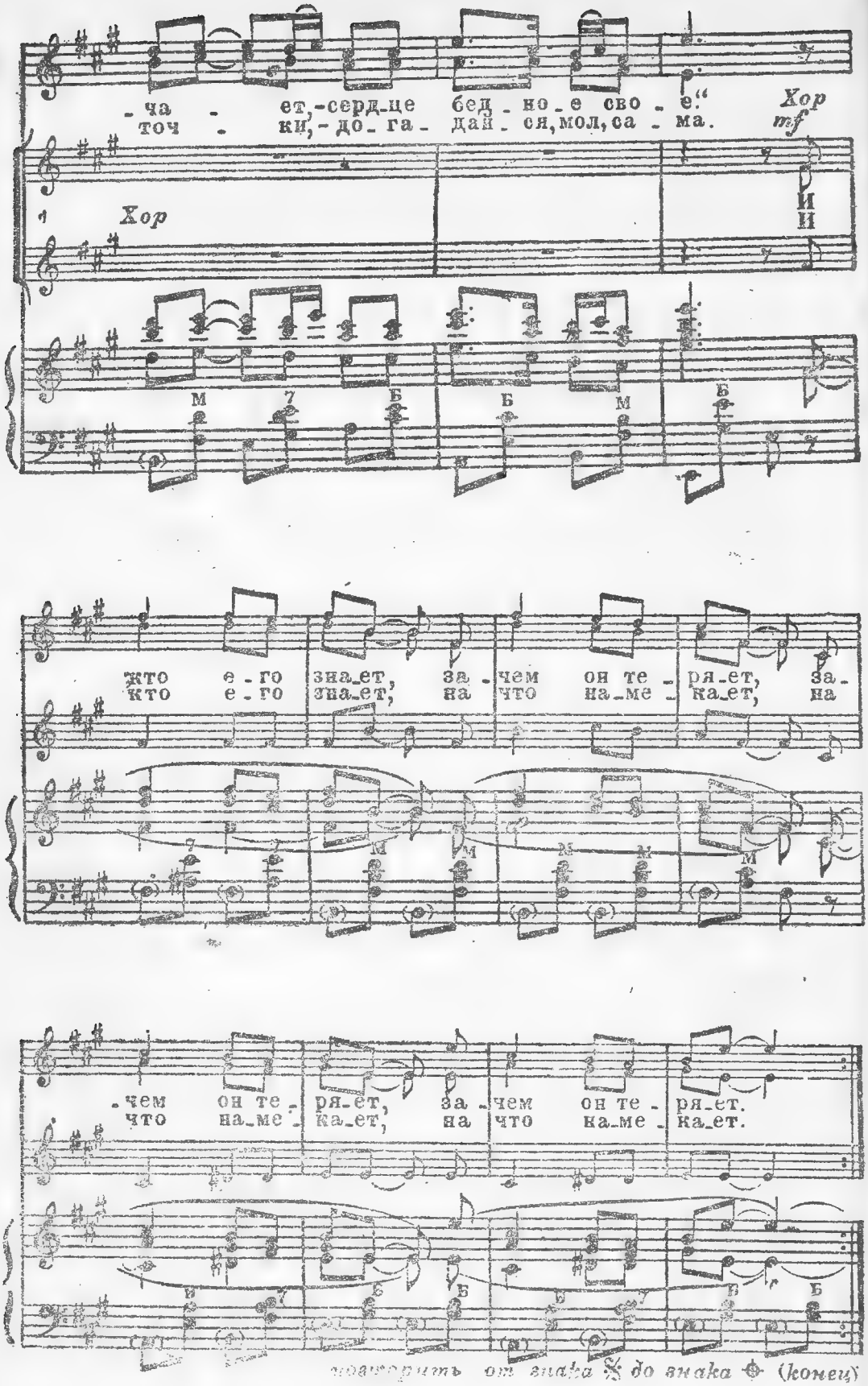
А дело в том, что теперь я не имею ни одного спокойного дня. Четырежды четыре — шестнадцать. Шестью шесть — тридцать шесть. Все это, конечно, правильно. Но в голову лезут другие цифры: прыжок с высоты тысячи метров, затяжной с высоты двух тысяч пятисот метров. Голова моя уже не в таблице умножения, а где-то там, в небесных просторах. Клава приходит домой. Я ее спрашиваю: «Ты откуда пришла: из лаборатории или с луны?» Теперь оказывается,— это я узнал из газеты,— она хочет побить какой-то рекорд затяжного прыжка. Вам легко об этом читать в газете. Но я же отец. Я же отвечаю за Клаву. И вот я день и ночь волнуюсь: побьет или не побьет? Но все-таки я верю в свою дочь: она лицом в грязь не ударит. Она побьет рекорд, моя Клава! Но не в этом дело.

Приехал на-днях мой водолаз Борька. «Что,— спрашиваю,— ты все еще мокнешь в воде?» Смеется. Пусть смеется. Но слушайте, какую штуку сыграли со мной дети. Уговорили-таки старика. Уговорили меня, чтоб я поднялся на самолете. Я пошел с Клавой на аэродром. Борька с нами не пошел: некогда, говорит. Усадила меня Клава в самолет, что-то загудело, зашумело. И вот я лечу над Москвой. Если вы не были там, наверху, вы еще не знаете, как прекрасна Москва! Думал я раньше, что будет страшно. Но смотрю я на спину летчика, на его руки — и я спокоен. Какая-то твердость в его руках, уверенность. Молодец парень! Но не в этом дело.

Смотрю я на летчика и думаю: «А все-таки тревожная работа. Хорошо, что Борька водолаз. Хорошо, что хотя он в нашей семье не летает. Клава летает, и вот я уже тоже начал, пусть хоть один не летает...» Спускаемся на землю. Откровенно говоря, мне стало грустно. Шестой десяток пошел, а я только один раз полетал. Выхожу из кабины и думаю: «Надо поблагодарить летчика». Подхожу к нему. Смотрит на меня и смеется. Подымает шлем и очки и... Мне опять стало холодно. «Как тебе не стыдно, Борька! — кричу я.— Кто же будет на дне морском?» «А я,— говорит,— справлюсь и там и тут. Родине, говорит, нужны летчики». Хочу кричать, сердиться. Но не могу. Борька смеется, Клава смеется. И я смеюсь. Уж больно хорошо они смеются — в этом все дело!

И КТО ЕГО ЗНАЕТ

Слова *М. Исаковского* Музыка *Вл. Захарова*



до_ма но_с_го,
_яу_ет в по_ет,
_дей_ся в ве_ждв.
по_мор_га_ет мне гла_
а про_стим_ся у ка_
Толь_ко серд_це по_че_
Хор
mf
_за_ми и ве ска_жет ви_че_го. И кто е_го
_лит_ки-от_вер_нет_ся и вздохнет. И кто е_го
_лу_то сладко та_ло_ру_дй. И кто е_го
зна_ет, за_чем он мор_га_ет, за_чем он мр_
зна_ет, че_го он взды_ха_ет, че_го он взды
зна_ет, че_го о_но та_ет, че_го о_но

-га-ет, за-чем он мор-га-ет.
-ха-ет, че-го он взды-ха-ет.
-та-ет, че-го о-но та-ет.
f
ten.
ten.
ten.
ten.
ten.
Запев
3. Я спро-си - ла: „Что не ве - сел? Иль не
4. А вче-ра прыслал по поч - те два за-
ра-ду-ет жить-ё?“
-га-дочных письма:
„По-те-рял я,— от-ве-
в каждой строч-ке только

-ча - ет,-серд_це бед_но_е сво_е!"
точ - ки,-до_га_дай_ся,мол,са_ма.
Хор
mf
Хор
жто е_го зна_ет, за_чем он те_ря_ет, за-
кто е_го зна_ет, на что на_ме_ка_ет, на
-чем он те_ря_ет, за_чем он те_ря_ет.
что на_ме_ка_ет, на что ка_ме_ка_ет.
повторить от знака 𝄋 до знака 𝄌 (конец)

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.

И кто его знает,
Зачем он моргает.

Как приду я на гулянье,
Он танцует и поет,
А простимся у калитки —
Отвернется и вздохнет.

И кто его знает,
Чего он вздыхает.

Я спросила: «Что не весел?
Иль не радует житье?»
«Потерял я,— отвечает,—
Сердце бедное свое».

И кто его знает,
Зачем он теряет.

А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке — только точки,
Догадайся, мол, сама.

И кто его знает,
На что намекает.

Я разгадывать не стала,—
Не надейся и не жди.
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.

И кто его знает,
Чего оно тает.

К. Паустовский

МУЗЫКА ВЕРДИ

(Рассказ)

Есть что-то необычайно прекрасное в обхождении смелых людей друг с другом во время опасности и несчастья.

Капитан Конрингтон

На броневой палубе крейсера приехавший из Москвы театр ставил под открытым небом «Травиату».

Седоусые лодочники толпились около досчатой пристани на старых шлюпках и хрипло и требовательно кричали:

— Кому до крейсера? Кому на музыку? Будем стоять коло самого борта, покамест не кончится представление. Зыба нет, верьте совести! Какой же это зыб, товарищи!

Шлюпки бестолково толкались бортами и торопливо кивали и кланялись берегу: их качала легкая волна. Так непрерывно машут головами дряхлые извозчичьи лошади.

Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом. Сигнальные фонари мерно колебались в воде около береговых утесов. Осенняя ночь приближалась очень медленно. Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт последние отблески заката.

Но когда на крейсере вспыхнули огни, сразу упала шумная темнота. Она была наполнена звуками встревоженной воды — журчанием, бульканием и плеском.

Стала слышна морская сутолока порта: торопливые удары весел, стук моторов, отдаленные крики рулевых, злорадный вой сирен и всплески волн, пересекавших залив по всем направлениям.

Все эти звуки стягивались от берегов и пристаней к крейсеру, где неожиданно пропел фагот в оркестре. Катеры неслись туда же, полоща в воде парадные кормовые флаги.

Татьяна Солнцева должна была играть Виолетту.

Она гримировалась в каюте командира, куда электрики-краснофлотцы провели стосвечные лампы.

Она приколола к корсажу красную камелию и напудрила похудевшее лицо. Играть ей было трудно. В Москве она оставила больного брата, почти мальчика. Он лежал в больнице и ждал тяжелой операции.

Солнцева тревожилась и потому ничего не замечала: ни города, шумного от сухой листвы и ветров, ни множества огней, носившихся с жужжанием по рейду, как золотые пчелы, ни изумительного воздуха, наполнявшего улицы запахом мокрых скал и горькой травы.

Операция была назначена на утро этого дня, но до сих пор из Москвы не было телеграммы.

Солнцева вышла на палубу, затянутую по сторонам брезентом. Грифы виолончелей были прислонены к серым стволам орудий.

Мелодия Верди вздрогнула в тишине стального корабля. Сотни молодых моряков слушали, затаив дыхание, печальный голос Виолетты. Струнный гром оркестра был слышен даже на окрестных берегах.

Шлюпки качались у борта. Люди смотрели из них вверх, задрав головы, на палубу крейсера. Лодочники старались не греметь веслами и, сталкиваясь, вместо обычной перебранки молча показывали друг другу кулаки.

Помощник режиссера стоял за броневой башней, как за кулисой, и волновался. В кармане у него лежала телеграмма на имя Солнцевой. Он не знал, что делать — распечатать ли ее самому, или передать после спектакля Солнцевой, не читая. Он шопотом советовался с администратором театра.

Администратор вырвал у него из рук телеграмму и вскрыл ее.

— Ничего особенного,— сказал он, пережевывая мундштук папиросы. — Операция откладывается из-за тяжелого состояния больного. В антракте можете сказать ей об этом.

Помощник режиссера поморщился и кивнул головой.

Кочегар Вася Чухов, носивший, как и все кочегары, прозвище «подземный дух», был приставлен к занавесу, сшитому из сигнальных флагов.

Вася, маленький, кряжистый и красный от старания, не спускал глаз с помощника режиссера. Этот вертлявый, нервный человек должен был просемафорить Васе рукой, когда закрывать занавес.

Вася слышал весь разговор около броневой башни. Широкая улыбка медленно сползла с его лица.

Во втором акте Солнцева вышла на сцену слишком торопливо. В антракте она прочла телеграмму. Голова у нее кружилась.

Когда Альфред опустился около ее ног на колени, она наклонилась и поцеловала его в юношеский висок. Тонкая голубая вена проступала на виске — совсем как у брата.

Солнцева глотнула воздух и заплакала. Слезы катились из ее глаз, но она продолжала петь. Голос ее дрожал. Она видела мутные, влажные пятна и не могла понять, огни ли это рампы, или звезды в воде, или бледные лица моряков.

Тогда Вася Чухов дал занавес, несмотря на сердитые окрики из-за броневой башни. Чухов вышел из повиновения. Лицо

его окаменело. На возмущенный шопот помощника режиссера ответил зловеще и коротко:

— Будете разговаривать с командиром корабля. Я ему доложу обо всем.

Палуба гремела от аплодисментов. Простодушные зрители считали перерыв спектакля вполне законным после такой напряженной и мучительной сцены, как слезы Виолетты. Никто из них не знал, что сцена прервана «подземным духом» в самом начале.

Чухов подошел к командиру корабля, сидевшему в первом ряду, и тихо доложил о случившемся.

Командир встал. Это был молчаливый, седой человек. Он видел в своей жизни много смертей в революционных боях, много штормов, гибель многих товарищей. Он знал беспощадность борьбы и неумолимость боевых приказов. Он был одинок. Все, что существовало до революции, терялось в хмуром тумане — и донецкий шахтерский поселок, и сельская грязная школа и люди тех времен, оставившие впечатление усталой и растерянной толпы. Революция перечеркнула прошлое твердой рукой и внесла в сознание простоту и ясность. Ей он был предан как боец, как бывший шахтер и как человек точного и светлого ума.

Командир встал и прошел на сцену. Палуба все еще гремела от топота матросских каблуков и рукоплесканий.

За сценой командира встретил бледный от возмущения администратор.

— Не беспокойтесь, — сказал он торопливо. — Сейчас все наладим. Пустяки! Обычные женские нервы. Она будет петь.

— Она не будет петь, — спокойно сказал командир и посмотрел в глаза администратору. — Прекратите спектакль!

Администратор пожал плечами и криво усмехнулся:

— Невозможно. Наш театр работает по-ударному. Мы не можем из-за настроения актеров срывать спектакли. И, наконец, о чем говорить: она успокоилась и вполне может петь.

Командир обернулся к Солнцевой. Она, не глядя ему в лицо, кивнула головой.

— Вы видите, она согласна, — сказал администратор и швырнул на палубу окурок. Эта история его начала раздражать. Становилось и неловко и стыдно.

Командир мельком взглянул на окурок.

Вася Чухов тотчас же незаметно смахнул его за борт.

— Вы находитесь на палубе корабля нашего Красного флота, — сказал командир. Его щека со шрамом от пули чуть заметно дергалась. — Вы меня извините, но здесь я осуществляю власть и поэтому позволю себе вмешаться в ваши распоряже-

ния. Об ударной работе вы, очевидно, имеете совершенно превратное представление. Согласие артистки значения не имеет, Я отменяю спектакль. Все. Разговоры прекращаются.

Командир поднял руку, и Вася Чухов раздвинул занавес. Зрители стихли.

— Краснофлотцы! — сказал командир спокойно. — У артистки Солнцевой произошло несчастье в семье. Ей трудно играть...

По толпе моряков прошел сдержанный гул. Все встали. Командир не успел сказать, что спектакль отменяется до лучших времен. Это было понятно для каждого краснофлотца и без объяснений командира.

— Подать к трапу катер! — негромко приказал командир.

— Есть подать к трапу катер! Есть подать катер! — начала перекликаться команда, пока не затихла на нижних палубах корабля.

Через несколько минут командир сошел с Солнцевой в катер. Краснофлотцы помогали Солнцевой, когда она спускалась по трапу. Высокий, коренастый старшина осторожно положил на сидение рядом с Солнцевой букет цветов, покраснел и крикнул негромко:

— Вперед до полного!

Катер выбил из-под кормы водопады огней и пены и помчался к пристани. В катере командир сказал:

— Я снесся с командующим флотом. В скором поезде на Москву вам оставлено место. Мы успеем. У нас есть еще сорок минут.

Солнцева наклонила голову и перебирала цветы рукой — она не могла говорить.

— В газетах пишут, товарищ командир, — сказал высокий старшина тихо, но так, чтобы слышала Солнцева, — что один московский профессор делает операции сердца, как орехи щелкает. Вот бы к нему...

— Помолчите, Кузьменко, — сказал командир.

Через час скорый поезд, ревя и разбрасывая облака пара, вырвался из последнего тоннеля. Огни города и рейда умчались за выступы отвесных скал...

Солнцева сидела в купе не раздеваясь, не снимая пальто и шляпы. Она смутно помнила огни вокзалов, снег на крышах товарных вагонов, Москву, затопленную полярной ночью, расшатанное такси и матовый свет в коридорах больницы.

Также смутно она помнила лицо брата, улыбнувшегося ей с больничной койки. «Все сошло удачно, — сказал Солнцевой профессор с сердитой острой бородкой. — Все сошло наредкость удачно».

Солнцева осторожно поцеловала брата во влажный юношеский висок. На нем чуть заметно проступала тонкая голубая вена.

А через несколько часов опять была ночь, вокзал, рябой носильщик, с трудом доставший билет, гром железных мостов, снега, угрюмый закат в степях за Харьковом и, наконец, синий дым глубоких бухт, высокое солнце и мягкий воздух приморской осени.

Солнцева бросилась к окну, — да, крейсер синел на рейде, он никуда не ушел. Солнцева начала торопливо рвать оконный ремень. Она хотела высунуться и протянуть к крейсеру руки, махать ему до беспамятства белым платком.

Но окно не открылось, и Солнцева вспомнила, что уже зима, что солнце светит здесь, на краю южных прекрасных широт, как последняя память о лете.

«Лишь бы наши не уехали, лишь бы их застать!» — думала Солнцева.

Своих она еще застала в приморском городе.

Через день на крейсере был снова поставлен недавно прерванный спектакль.

Когда «подземный дух» раздвинул занавес и на сцену вышла Солнцева, моряки встали, и грохот неслыханных на рейде аплодисментов потряс окрестные берега. Простые полевые цветы падали к ногам Солнцевой и перемешивались со старинными шелками и синим бархатом венецианских нарядов. Командир стоял в первом ряду и дружески улыбался.

Солнцева наклонила голову, она почувствовала в глазах прежнюю тяжесть слез, но это были слезы благодарности и дружбы.

Она подавила их, подняла голову и рассмеялась. И тотчас же вздохнул оркестр, и щемящая мелодия Верди заглушила плеск волн.

Солнцева отколола камелию от корсажа и бросила ее на палубу. Вместо камелии она приколола сухой и пыльный лиловый цветок. Это был цветок городских окраин, брошенный ей Васей Чуховым.

Она пела блистательно. Голос ее звенел и томился над бухтами. Старые рыбаки сидели на берегах у воды, слушали и удивлялись силе человеческой молодости.

Командир слушал и думал, что ничто не дает такого расцвета таланту, как дружба и простое товарищеское внимание.

Казалось, Виолетта пела в своей родной Венеции. Дым звезд роился над береговыми утесами. Блеск огней достигал до самого дна бухты, — так прозрачна была морская вода. Воздух дрожал от невидимых жарких течений. Горизонт над

морем, несмотря на ночь, был светел на десятки миль, как будто наступали сумерки.

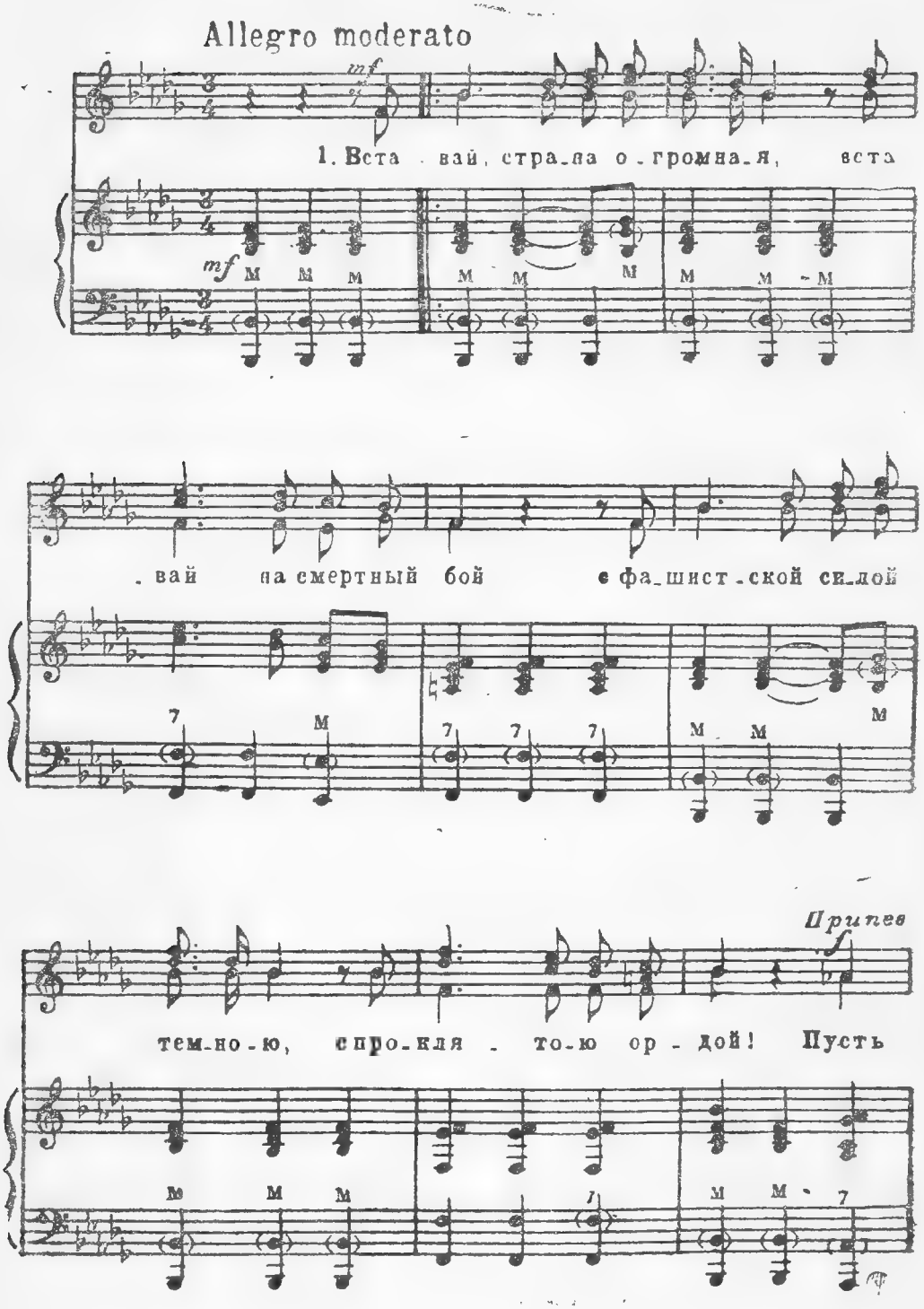
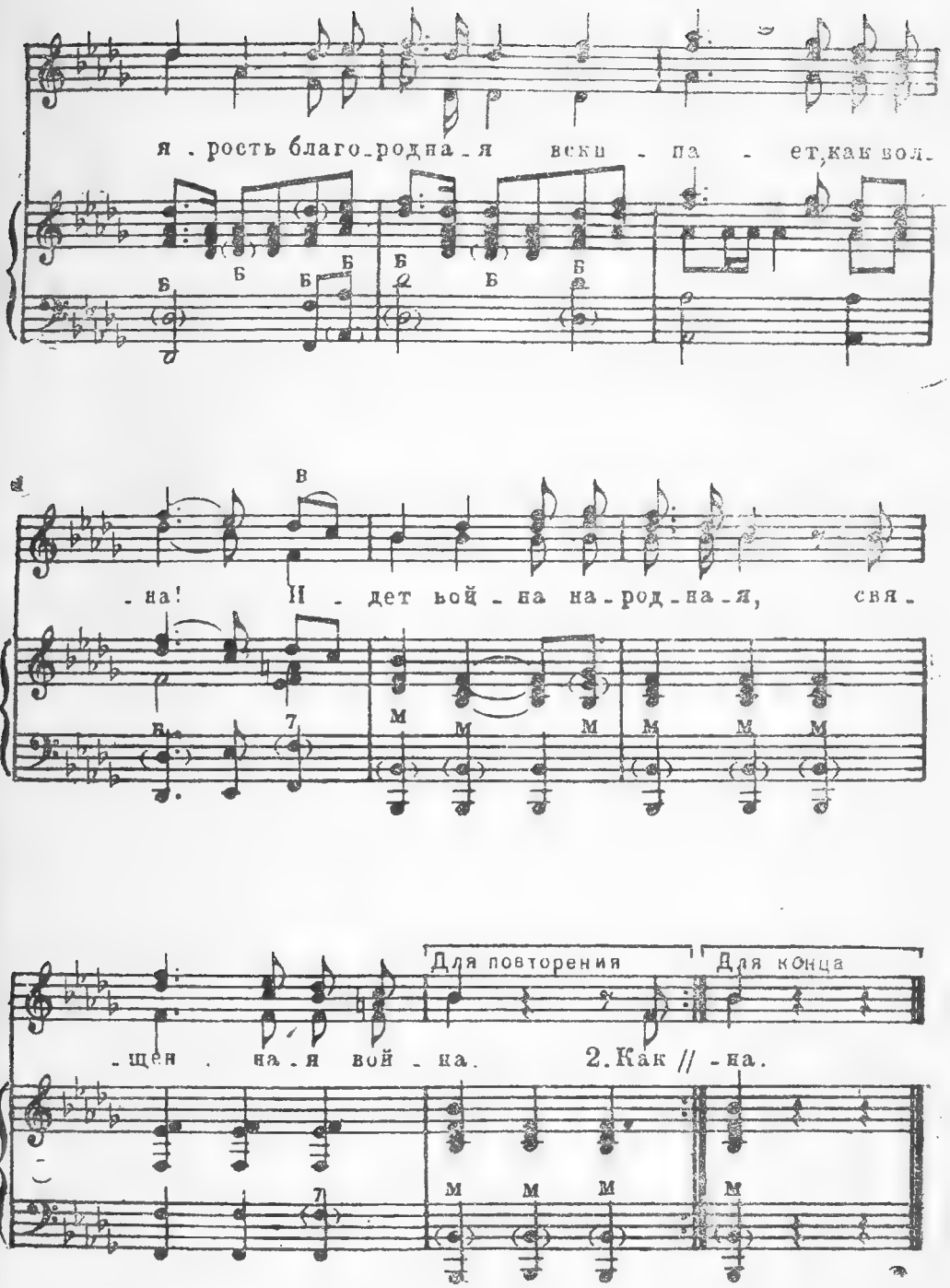
После спектакля краснофлотцы окружили Солнцеву, но внезапно быстро и почтительно расступились. К Солнцевой шел высокий моряк с золотыми галунами на рукавах — командующий флотом.

— Я хочу поблагодарить вас от всего флота, — сказал он. — Вы доставили нам высокую радость. Ну, как брат, поправляется?

Солнцева хотела ответить, что не она, а вот эти молодые, загорелые моряки — то смешливые, то серьезные, но всегда спокойные и доброжелательные — заставили ее испытать настоящее счастье. Она подумала, что таким слушателям могли бы позавидовать Моцарт и Бетховен, но ничего не ответила, — она только крепко, до боли пожала руку командующему.

Свежий ветер дул с моря, где в темноте и гуле бурунов сверкали далекие маяки.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Слова *В. Лебедева-Кумача* Музыка *А. Александрова*

я . рость благо_родна_я вски - па - ет,как вол.
-на! И - дет вой - на на_род_на_я, свя.
-щен . на_я вой - на.
Для повторения
Для конца
2. Как // -на.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы, —
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Припев.

Гнилой, фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб.

Припев.

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой.

Припев.

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Николай Тихонов

КРАСНАЯ АРМИЯ

В ее тени играли наши дети,
Поля шумели, жили города —
Нет армии любимее на свете,
Хранительницы мира и труда.

Пройди весь свет,
Проверь всех армий славу,
Пересмотри былые времена —
Нет армии, которая была бы
С народом слита больше,

чем она.

Немецких орд железная комета
Явилася на наших рубежах —
Нет армии, которая б, как эта,
Комету эту бросила во прах.

И яростная битва закипела,
Как никогда, безумна и грозна.
Нет армии, которая б имела
Вождя полков такого, как она.

Народам час освобожденья снится
В истерзанной Европе наших дней —
Нет армии, которая сравнится
Своею правдой с правдою твоей!

Николай Тихонов

ТРИ КУБКА

Любви поднимем кубок пенный
За счастье всей страны родной,
За всю красу земель бесценных,
За счастье бури боевой!

За то, чтоб на земле и в тучах,
Во льдах, среди морских зыбей
Венчал успех ее могучих,
Ее прекрасных сыновей.

За то, чтоб, доблестью хранимо,
Ее окрепло бытие,
За то, чтоб вождь ее любимый
Все к новой славе вел ее.

И кубок, ненависти полный,
За то, чтоб немцев покарать,
Чтоб раскаленной стали волны
Жгли непрерывно вражью рать.

За то, чтоб тьма зимы холодной
Их мерзлых тел не погребла,
Чтоб пламя мести всенародной
Испепелило их дела.

И мы поднимем кубок третий
За то, чтоб все края земли,
Фашистский ад убив на свете,
Дышать без ужаса могли.

Чтоб жизнь, как мастера уменье,
Входила в шелесты листвы,
Как атлантическое пенье
В напевы Темзы и Невы.

Чтоб смерть ни бомбой, ни картечью
Не оскорбляла ясный день,
Чтоб человек, расправив плечи,
Согнал улыбкой скорби тень.

Ванда Василевская

ПАРТБИЛЕТ

— Подавай, Катя, подавай...

Она торопливо, лихорадочно подавала патроны. Из-под платка выбились волосы. Алексей не оглядывался, припав к пулемету, бросал:

— Подавай, Катя, подавай...

Трещал пулемет, двигалась длинная лента. Катя торопливо хватала следующую, держа ее наготове.

— Катя!

— Да.

— Иди, еще раз позвони. Скажи полковнику, слышишь? Все скажи.

Она поползла кустами. За пригорком пустилась бегом, добежала до дому. К телефону.

— Город давай, город, тридцать пять.

— Не отвечает.

— Давай, давай — тридцать шесть.

— Не отвечает.

Телефон щелкнул. Катя заломила руки. Бросилась к окну. Там, за кустами, гремели залпы, хлопали выстрелы. Она еще раз дрожащей рукой схватила трубку.

— Милая, дорогая, говорит Орловка... Орловка... Милая, дорогая, дай город, тридцать пять...

— Не отвечает.

— Милая, милая, пойми, говорит Орловка... Орловка! Город... Все равно какой телефон, город!

— Постараюсь, подождите, — сказал вдруг голос в трубке.

Катя преодолевала дрожь, где-то там, далеко, она слышала треск включаемых проводов и приятный голос телефонистки, упорно повторяющей:

— Город... Город... Город...

— Алло Орловка!

— Я здесь, Орловка, Орловка...

— Связь с городом прервана. Поправляют. Надо подождать.

Она бессильно опустила руки.

Катя выбежала из дому. До кустов ползком на животе. Вот она добралась до своих. Алексей повернул от пулемета потное, закопченное лицо.

— Ну, как?

— Связь прервана. Чинят.

Он сжал зубы.

— Катя, посмотри, — со стороны Гриши ничего не слышно.

Она поползла направо, на пригорок. Молоденький пограничник лежал лицом к земле. Она осторожно коснулась губами мальчишеской щеки. Щека была еще теплая. Она сунула руку под гимнастерку — сердце не билось.

— Мертвый, — сказала она Алексею.

— Девять, — отозвался он. — Подавай патроны, Катя.

Она подавала. Расширенными глазами смотрела туда, на другую сторону: узенькая речушка и мосток. Там, за мостком, на зеленом фоне взрывались красные огоньки выстрелов. Немцы.

— Подавай, Катюша, подавай...

Они лежали, прижавшись к земле, спрятанные за кустами, за буйно растущей травой. И без перерыва, без памяти палили в ту сторону. В двухстах-трехстах шагах от них засели немцы.

Катя машинально подавала патроны и машинально считала: да, девять, Гриша ведь уже не в счет...

Рядом, совсем близко, кто-то застонал. Теперь уже не девять, а только восемь.

— Катя, попробуй еще, еще попробуй, может, поправили.

Она вскочила, побежала.

— Орловка... Говорит Орловка... Милая, дорогая, давай город...

— Связь будет через два часа.

Катя бросила трубку. Бегом назад.

— Алексей, связь будет через два часа.

— Через два часа нас уже не будет, Катюша.

Она торопливо сосчитала. Семеро. Ну да, семеро...

— Катюша, возьми платок и посмотри, что там с Платоном.

Она поползла за кусты, обвязала раненую руку платком.

— Ползите отсюда, вы ранены...

— Ничего, ничего, Катюша, ничего...

— Катя!

Она услышала голос мужа и бросилась к нему.

— Слушай, Катя...

Он не смотрел на жену. Он не отрывал глаз от зеленых зарослей там, за мостком, где расцветали красные взрывы.

— Сумеешь вывести машину из сарая?

Отшатнулась, словно ее толкнули в грудь.

— Сумеешь?

Он не смотрел на нее. Он смотрел туда, в зелень зарослей, расцветающую красными огнями.

— Да, — сказала она глухо.

— Слышишь, Катя?

— Да.

— В шкафу документы. Все документы в машину и в город. Отдашь полковнику. Понимаешь?

— Алеша, я останусь... Не могу...

— Катя, немедленно! Понимаешь? Немедленно! Через минуту может быть поздно. Документы — все, что в шкафу. Понимаешь, Катя...

— Да.

Он не взглянул на нее ни разу. А она не решилась коснуться его руки, протянутой за новой пулеметной лентой.

— В машину, и полный ход. Гони, как можешь. Возьми наган, слышишь? Помни, Катя, семь патронов — последний оставь на всякий случай. Понимаешь?

— Да...

Она тихо поползла к кустам. Вдруг он позвал снова.

— Катя, подожди, мой партийный билет возьми, собери у всех. Отвезешь партбилеты.

Она взяла красную книжечку. Потом поползла от одного к другому. Пятеро. Пятеро ей подали свои партийные билеты.

— У тех тоже возьми.

Она обыскала карманы убитых. Вот они, маленькие красненькие книжечки.

— Помни, Катя, приготовь бензин, в случае чего — облить и поджечь... И седьмой патрон помни... Иди скорей, Катя, скорей...

Теперь он, наконец, взглянул на нее. Серые, любимые глаза... Она почувствовала отчаянную, безудержную, безумную любовь к этому человеку.

— Алеша...

— Ничего, ничего, Катя. Иди поскорей. Это и есть любовь, Катя.

Это и есть любовь. Она закусила губы. Осторожно ползла, чувствуя на груди жесткое прикосновение красных книжечек.

А потом — бегом. За домом сарай, в нем грузовик.

Катя завела мотор. Там, за кустами, наверняка слышат его гуденье. Слышит Алексей.

Это и есть любовь. Вот это и есть любовь, — как в бреду, повторяла она сухими губами. Выехала на дорогу.

Она наклонилась над рулем. Дорога была ровная, гладкая. Катя дала полный ход. Ветер свистел в ушах.

Мелькали зеленые деревья, белые избы. Она неслась, неслась вперед, повторяя про себя слова Алексея:

— Скорей, может быть слишком поздно.

На распутьи пришлось остановиться, спросить дорогу. Она ведь не знала эти края — первый раз здесь. Один вечер и одна ночь после шестимесячной разлуки. Алексей...

Наконец, город. Ее задерживали, спрашивали. Она автоматически отвечала.

Ей показали дорогу. Она тяжело шла по лестнице. Один этаж, другой. Ах, какая длинная лестница... Одна дверь, другая дверь, третья... Военные, милиционеры, полно людей. Зеленые шапки. Сердце сжалось при виде зеленых шапок пограничников.

Она подошла к столу и сказала:

— Комендант, Алексей Назаров, велел мне отвезти документы.

Она подавала бумаги, портфели, пакеты. Человек за столом брал все по очереди, спокойно, старательно складывал.

— А теперь сядьте, отдохните.

Она хотела сказать, что не устала, но ноги подгибались. Она тяжело опустилась на стул. В голове еще гремели выстрелы и нестерпимо грохотал мотор грузовика.

Человек за столом взял телефонную трубку.

— Дайте Орловку.

Катя ждала.

— Орловку, Орловку. Немедленно!

Она ждала. Тот тоже ждал. Глазами, полными одного страстного желания, она пыталась прочесть что-нибудь в его глазах, крепко сжимала пальцы.

— Так. Так.

Он медленно положил трубку.

— Что, что?

Он вышел из-за стола. Взял в свои руки ее холодные, крепко стиснутые пальцы.

— Орловка не отвечает.

— Еще нет связи?

Она чувствовала, как стынут ее пальцы, как леденеют ноги, леденеет все тело.

— Милая, храбрая... Что же делать? Война... В Орловке немцы.

Как эхо, как отдаленное воспоминание пронеслись в голове слова песни — кто же это пел и когда? Алексей, чернобровый, сероглазый, милый, любимый, любимый Алексей!

Жалко только волюшки во широком полюшке,
Солнышка на небе, любови на земле...

Она уже совладала с собой.

— Я пойду... Мне надо в обком.

Ей показали, как пройти.

Снова письменный стол, снова человек за столом. И снова у нее сжалось сердце. На кого он похож? Ах, да, на Гришу, на молоденького Гришу, что пал первым.

— Я принесла партийные билеты.

Она вытащила их из-за пазухи. Десять ярких красных книжечек.

— Чьи партийные билеты?

Катя выпрямилась. Уверенным голосом сказала:

— Партийные билеты десяти товарищей пограничников, погибших на посту в борьбе с немцами сегодня на рассвете.

Секретарь встал. Партийные билеты лежали на письменном столе. Десять красных книжечек, сверкавших на зеленом сукне, словно пятна живой крови.

Николай Тихонов

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

„Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина"
(СТАЛИН)

То не чудо сверкает над нами,
То не полюса блеск огневой, —
То бессмертное Ленина знамя
Пламенеет над старой Невой.

Ночь, как год девятнадцатый, плещет,
Дней звенит ледяная кора,
Точно вылезли древние вещи —
И враги, и блокада, и мрак.

И над битвой смертельной и мглистой,
Как тогда, среди крови и бед,
Это знамя сверкает нам чистым,
Окрыляющим светом побед!

И ползущий в снегу с автоматом
Истребитель — боец молодой —
Озарен этим светом крылатым
Над кровавою боя грядой.

Кочегар в духоте кочегарки
И рабочий в морозных цехах
Осенен этим знаменем ярким,
Как моряк на своих кораблях.

И над каменной мглой Ленинграда,
Сквозь завесы суровых забот,
Это знамя сквозь бой и блокаду
Великан-знаменосец несет.

Это знамя — победа и сила,
Ленинград от врага защитит
Победит и над вражьей могилой —
Будет день! — на весь свет прошумит.

Алексей Сурков

ПОЛКОВОДЕЦ

Шуршит по крышам снеговая крупка.
На Спасской башне полночь бьют часы.
Знакомая негаснущая трубка,
Чуть тронутые проседью усы.

Он наш корабль к победам вел сквозь годы.
Для нашей славы временем храним.
И в эту ночь над картой все народы
В седом Кремле склонились вместе с ним.

На карте фронт узорной вязью вьется.
И он, нацелясь в черные кружки,
Привычным, точным жестом полководца
Отодвигает к западу флажки.

Он встал над фронтом, над Москвой, над нами,
Он руку к западу простер свою.
— Пусть осенит вас Ленинское знамя,
Сыны мои, в решительном бою!

Степан Щипачев

О МОСКВЕ

В настороженном городе темно,
Прохожего патруль окликнет строго,
И светом не блеснет окно, —
Кругом слепые бельма окон.
Ну, что ж, пускай Москва затемнена,
Пускай огни зажжем еще не скоро —
И затемненная, она —
На свете самый светлый город.

Сергей Михалков

СТАЛИН

Раскрыл боец армейскую газету.
На первый лист упал полоской свет.
И вот указ — Верховного Совета
И над указом — сталинский портрет.

Был тот боец простым рабочим малым
Из города Ростова-на-Дону.
До сей поры в сраженьях не бывал он,
И первый раз увидел он войну.

И Сталина не видел он ни разу,
Но знал о нем, как знает весь народ,
По песням, по делам и по рассказам,
В которых образ Сталина живет.

Былых боев боец тот не изведал,
Но, плоть от плоти сын своей страны,
Он знал, что Сталин — это есть Победа
На всех фронтах: труда, борьбы, войны.

Ночную мглу прорезал взлет ракеты,
И первый взвод пошел в свой первый бой.
Газетный лист со сталинским портретом
Красноармеец уносил с собой.

КОГДА УМИРАЮТ ГВАРДЕЙЦЫ

(Из поэмы «Двадцать восемь»)

Тебе не расстаться с шинелью,
Ни разу уже не раздеться...
Снега! Поднимитесь метелью,
Когда умирают гвардейцы!

Звезда боевого ночлега
Над нами мерцает, как раньше...
Трава! Поднимись из-под снега
Приветствовать наше бесстрашье!

С врагом до последнего биться
Вело нас гвардейское знамя...
Последних минут очевидцы,
Склонитесь, березы, над нами!

Идем, политруком ведомы,
К победе и смерти готовы...
Эх, жаль, что далеко до дому
И ворон — не голубь почтовый!

Подружка моя молодая,
Тебе ль оставаться вдовою?
Огонь по переднему краю!
За мною, гвардейцы, за мною!

Сибирской ночной тишиною
Покрыта Иркутская область...
За мною, гвардейцы! За мною!
На подвиг, на славу, на доблесть!

Заснежена наша избушка,
Мальчонка играет с собакой...
Гвардейцы! Фашиста — на мушку!
За мною, гвардейцы, в атаку!

Мы вновь не увидимся будто...
Прощайте навеки, родные!
Предсмертной разлуке — минута,
А родине — все остальные!

Мы жили семьею счастливой,
Мы прожили век, не скучая,
Гранат и снарядов разрывы
Гвардейскою шуткой встречая...

Все ближе стучат автоматы,
И танки надвинулись глухо...
Но сталь и железо, ребята,
Помягче гвардейского духа!

Друзья! Мы не будем забыты.
По капле всю кровь свою отдав,
Мы были почетною свитой
Союза советских народов!

Лети же, последняя пуля,
И в горло тевтонское впейся...
Бессмертье встает в карауле,
Когда умирают гвардейцы!

Анна Ахматова

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим и от плена спасем
навсегда.

Алексей Сурков

ТАНЯ

Расстались они у лесного костра.
— Прощайте, подружки! В дорогу пора.
По отблескам зарев, по вспышкам огня
В ночной темноте узнавайте меня.
Ноябрьская полночь поземкою бьет,
А девушка Таня идет и поет:
«Уж враг отступает пред нашим полком,
Какое блаженство быть храбрым бойцом!»
Багряными бликами рдеют снега,
Кострами пылают берлоги врага.
Здесь Таня на крыльях метели прошла,
И след ее легкий пурга замела.
У края деревни в морозной ночи
Настигли, скрутили ее палачи.
Огнем прожигают, прикладами бьют,
По черствому снегу босую ведут.
Молчанья враги победить не могли
И девушку Таню на казнь повели.
Вкруг шеи тугая петля обвилась,
Пиявкою в хрупкую шею впилась.
Пред смертью, на зло кровожадным зверям,
Она из петли прокричала друзьям:
— Не страшно мне гибнуть за русский народ.
Боритесь, товарищи! Сталин придет!
Над свежей могилой поземка вьюжит.
В могиле отважная Таня лежит.
Как солнце весны, молода и светла,
За родину юность она отдала.
На запад идут над могилой полки,
И девичья песня равняет штыки:
«Уж враг отступает пред нашим полком,
Какое блаженство быть храбрым бойцом!»

Ю. Крюков

ЗНАМЯ

Наши войска только что вступили в село. Страшен был вид кирпичных скелетов, обуглившихся печных труб. Там и здесь, застыв в предсмертных судорогах, валялись трупы в землисто-зеленых мундирах.

На дальней околице еще гремели выстрелы. Мы рассыпались по домам, добивая фашистских псов.

В одной из изб на правой стороне села мы услышали смех ребенка. Он был неожидан и неправдоподобен — детский веселый смех среди разрушений, стрельбы, близ умирающих людей. Бойцы переглянулись, и молодой лейтенант распахнул дверь, засунув согревшийся пистолет в кобуру.

В большой комнате, поверх странной пирамиды из обломков столов, стульев, этажерки, рядом с огромными счетами сидела девочка лет четырех-пяти и заразительно смеялась, перекидывая на металлических прутьях желтые костяшки конторских счетов. Мы бы, конечно, во много раз меньше удивились, если бы увидели здесь замаскированное тяжелое орудие.

— Ты что? — только и выговорил лейтенант. Потоки черного пота струились по его лицу, еще не остывшему от боя, но глаза его, обращенные к ребенку, были уже теплы и нежны.

Девочка взглянула на вошедших и снова занялась своим несложным делом. Послышался женский голос:

— Немцы игрушки побрали, но она у меня смирная: занимается, чем дашь.

Только тогда мы увидели женщину. Она стояла в углу и что-то прикрепляла к стене. Когда она повернула к нам голову и немного отодвинулась, мы увидели на стене яркокрасное полотнище и на нем большой портрет Ленина и Сталина.

Мы стояли неподвижно, не отводя глаз от знамени. Ленин и Сталин смотрели повелительно и серьезно. Только где-то, в уголке глаз у Ленина и в очертаниях губ у Сталина скрывались большая доброта и теплый дружеский привет.

Мы стояли молча, а вдали, утихая, гремела музыка боя. Женщина рассказывала нам, обняв ребенка.

— Это знамя нашего сельского совета. Когда они вошли, я спрятала его у себя на груди. Так и носила до сегодняшнего дня... До вчерашнего, — поправилась она со смущением. — Как вы сильно в бой пошли, так я его вынула и положила на стол. Все ждала минуты, когда можно будет опять показать всем людям.

Мы смотрели, не отрываясь, на знамя. Потом лейтенант вы-

тянулся и медленным уставным движением приложил руку к козырьку. Красноармейцы встали по команде «смирно».

Мы отдавали честь нашему великому знамени, нашим учителям и скромной, незаметной их последовательнице и ученице, готовой отдать свою жизнь, чтобы сохранить знамя с портретами учителей.

Валентин Катаев

ФЛАГ

(Рассказ)

...Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль казалось пустынным...

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, — как во сне, как в сказке, — отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещеру плавно подымались три дальнобойных орудия...

Они подымались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом...

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещался небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену...

Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и с воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катеры и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом, но гранитные скалы стоят непоколебимо; враг ищет слабого места и не находит его.

Но время шло.

Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Развязка приближалась. И вот она наступила.

— Ну? — сказал, наконец, комиссар.

— Вот тебе и ну, — сказал командир. — Все.

— Тогда пиши.

Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «Сегодня с утра

вели огонь изо всех орудий. В семнадцать часов сорок пять минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки».

Он закрыл журнал и положил на полку.

— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.

В дверь постучали.

— Войдите.

Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик.

— Вымпел?

— Точно.

— Кем сброшен?

— Немецким истребителем.

Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился.

«Господин коммандантий совецки форт и батареи. Вы есть окруженни зо всех сторон. Вы не имеете большо боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Узловия: весь гарнизон форта оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха — там сдаваться. Ровно шесть ноль ноль часов по среднеевропейски время на вершине кирха должен есть быть иметь выставить бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Сдавайтесь.

Командир немецки десант контрадмирал фон-Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:

— Хорошо. Идите.

Дежурный вышел.

— Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво, когда дежурный вышел.

— Да, — сказал комиссар.

— Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они увидят его? Надо, чтоб они непременно заметили его. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?

— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку.

— Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь...

Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.

Незадолго до рассвета флаг был готов.

Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

**
*

На рассвете в каюту фон-Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Он был взволнован, с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку.

— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон-Эвершарп, играя витой слоновой кости рукояткой кинжала.

— Так точно. Они сдаются.

— Хорошо, — сказал фон-Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Отлично. Свистать всех наверх.

Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон-Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря.

Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.

— Бедняги, — сказал фон-Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.

Он отдал приказ.

Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоящих на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.

— Чорт возьми, это красиво, — сказал Фон-Эвершарп. — Солнце выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.

Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя и падая и опять подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей. Фон-Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки... Он был восхищен зрелищем штурма. Его лицо подергивали судороги.

— Вперед, мальчики, вперед!

И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наползали друг на друга, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.

Морщина землетрясения прошла по острову.

— Они взрывают батареи! — крикнул фон-Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции!

В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного, гранитного цвета. Все, кроме флага на кирхе. Фон-Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным...

Тогда фон-Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон-Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон-Эвершарпа. Он обманул сам себя.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

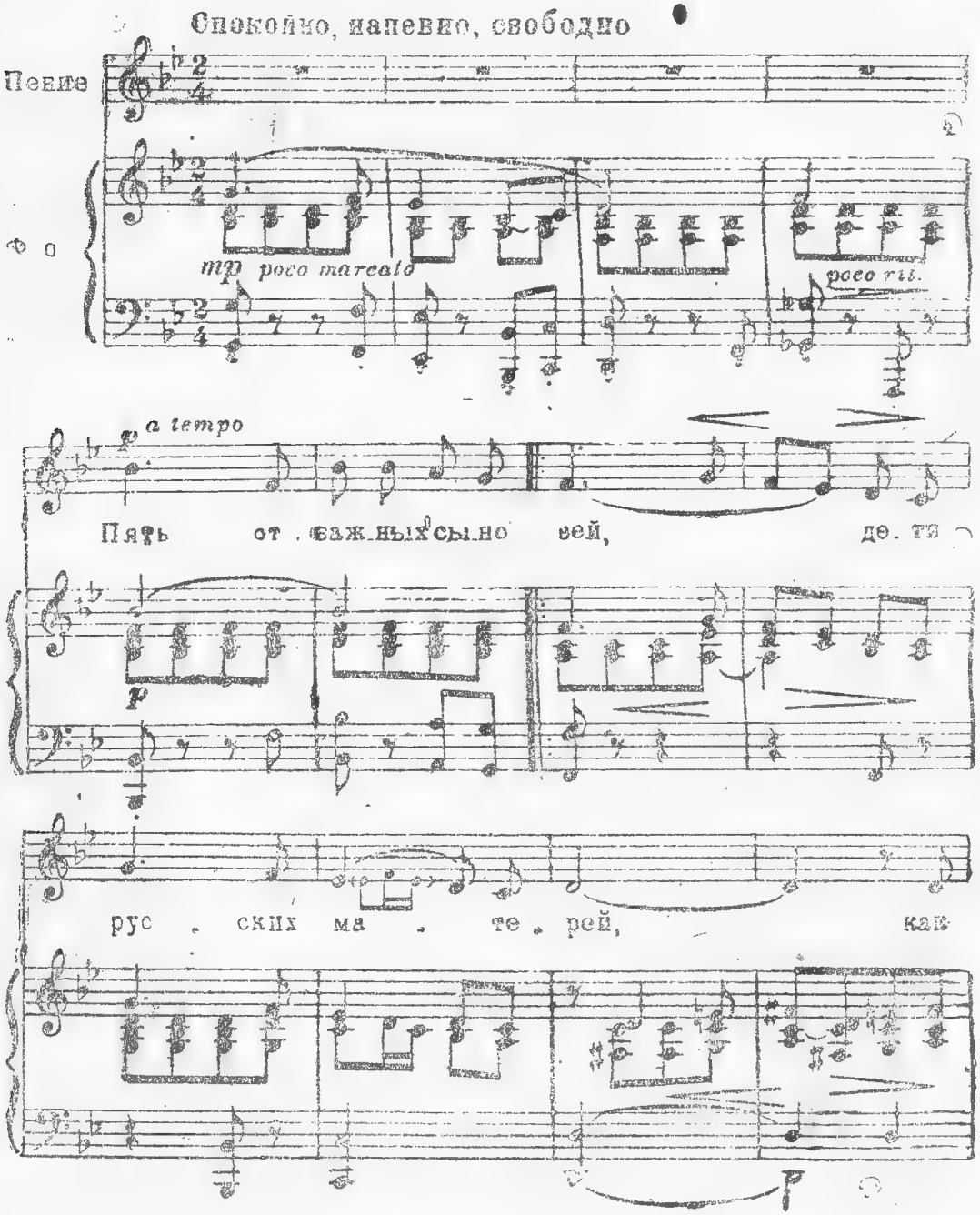
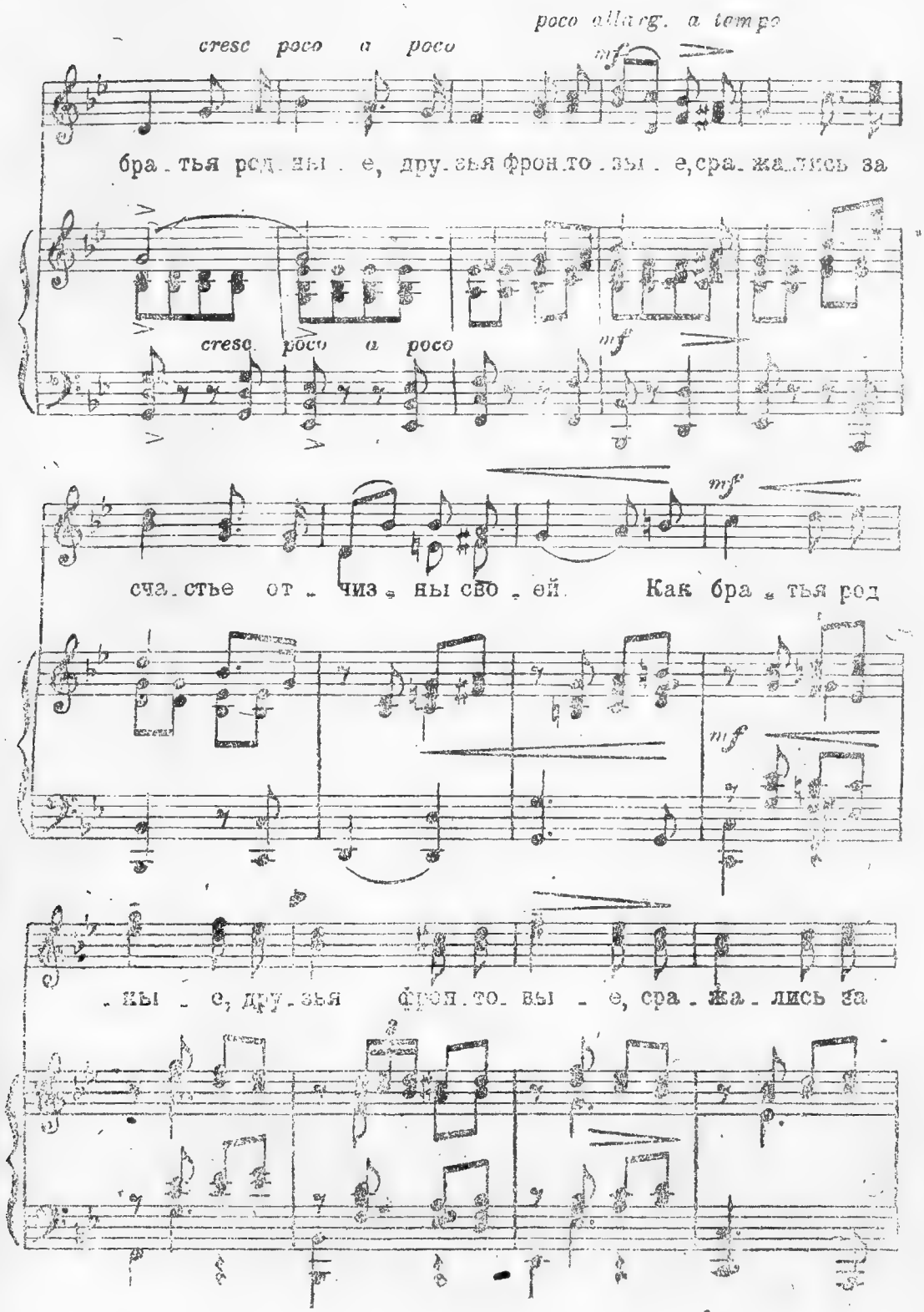
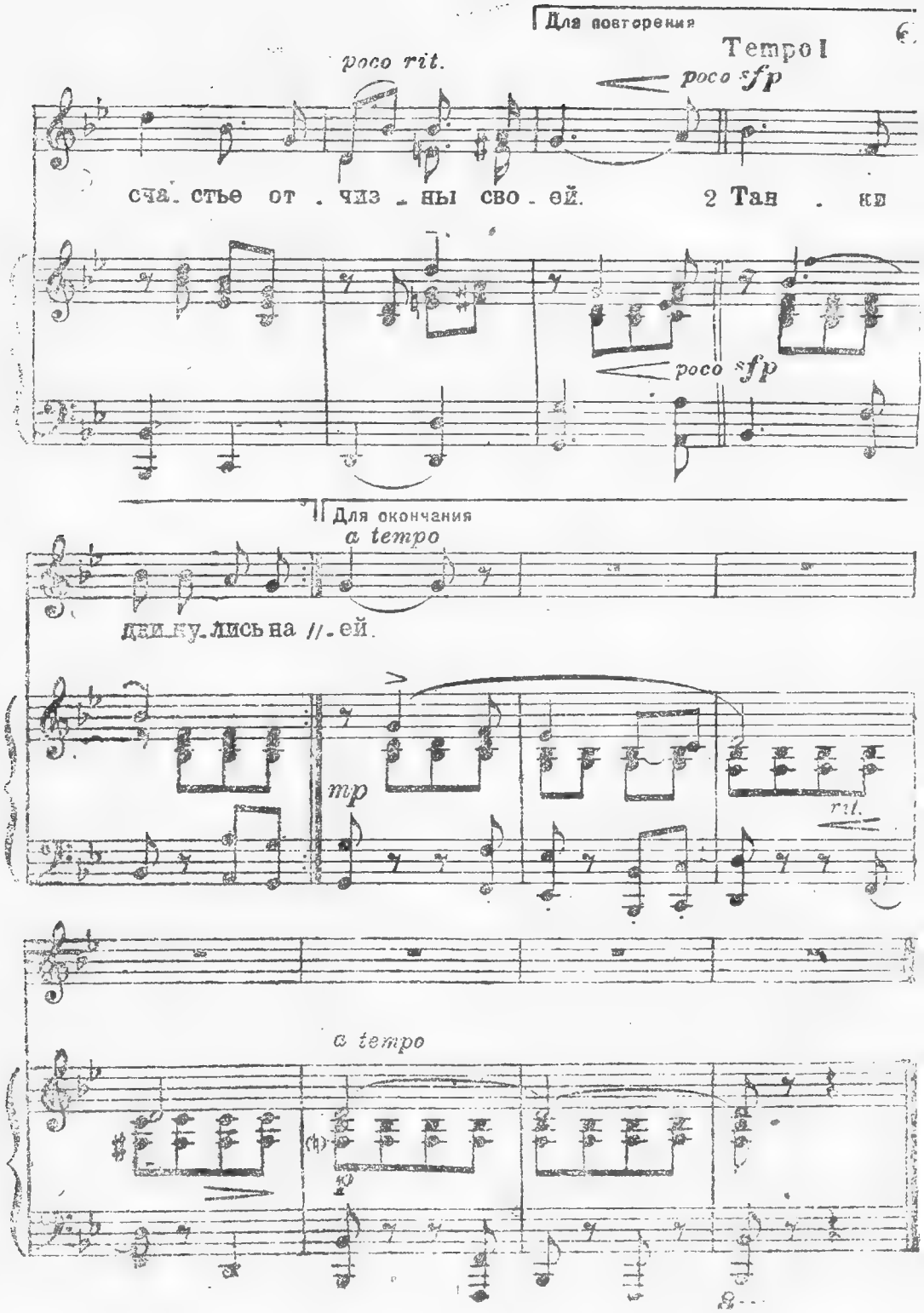
И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот последний, страшный час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов...

Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.

Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» и два портрета — Ленина и Сталина, вышитых гладью на вишневом атласе — подарок куйбышевских девушек,— были вшиты в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед, к победе.

ПЕСНЯ О ПЯТИ МОРЯКАХ

Слова *И. Френкеля* Музыка *В. Белого*

poco allarg. a tempo
cresc poco a poco
mf
бра - тья род - ны - е, дру - зья фрон - то - вы - е, сра - жа - лись за
cresc poco a poco
mf
mf
сча - стье от - чиз - ны сво - ей. Как бра - тья род
mf
- ны - е, дру - зья фрон - то - вы - е, сра - жа - лись за

Для повторения
poco rit.
Tempo I
poco sfp
сча. стье от . чиз . ны сво . ей.
2 Тан . ки
poco sfp
Для окончания
a tempo
дан. ку. лись на //. ей.
mp
rit.
a tempo

Пять отважных сыновей,
Дети русских матерей,
Как братья родные,
Друзья фронтовые,
Сражались за счастье отчизны своей.

Танки двинулись на них,
На героев пятерых.
Ответ был достойный —
Свинец бронебойный.
Не дрогнул никто из бойцов молодых.

Не боялися они
Черной вражеской брони.
Осталось их трое,
Отважных героев.
Их подвиг, товарищ, в бою вспомяни.

Обнялись в последний раз:
— Помни, родина, про нас...
Под танки бросались,
И танки взрывались.
Так русский моряк выполняет приказ.

Пять отважных сыновей,
Дети русских матерей,
Как братья родные,
Друзья фронтовые,
Сражались за счастье отчизны своей.

М. Тевелев

ПОСЛЕДНИЙ КАТЕР

(Рассказ)

Под пулями и шрапнелью их осторожно несли к пристани. У одних были закрыты глаза и мучительно сжаты губы, другие глядели в звездное крымское небо, точно навсегда хотели запомнить его.

Они последними покидали город. Собственно говоря, города не было, были развалины. Они пахли пылью и дымом; на центральных улицах уже шагали немцы; они взламывали двери уцелевших домов, полосовали автоматным огнем руины и мостовые и подбадривали себя хриплыми выкриками, но путь к пристани оставался все тем же, все так же торопливо позвякивали подковы краснофлотских сапог на крутом спуске, как тогда, в поздние часы, когда надо было спешить к катеру, чтобы попасть на корабль.

Мичман Сибирко попытался шевельнуть ногами, но застонал. Он знал этот спуск, здесь были знакомы выбоины на панели, выступы стен, калитки, ступени подъездов. У белого домика росло тутовое дерево, под которым небезопасно было проходить в дни июля и августа, когда падали с веток черные влажные ягоды. Тут, справа, на пороге калитки, из года в год, целыми днями просиживала черная от севастопольского загара старушка и вязала шерстяные носки. Носилки проплыли мимо лавочки канцелярских товаров, где обычно стайки школьников покупали перья, тетради и переводные картинки.

Мичман знал этот спуск потому, что родился здесь, играл со сверстниками на раскаленных плитах мостовой, потому что любил девушку из домика под тутовым деревом и, став моряком, с гордостью и особым черноморским шиком носил бескозырку. И он застонал еще раз, но теперь не от боли.

— Федя! — крикнул он, хотя ему было трудно кричать. — Узнаешь?

— Узнаю,— отозвался с других носилок задыхавшийся голос.

Лица Феди Егорова не было видно: в темноте вместо лица белели навороты бинтов; только там, где оставались просветы для глаз, лихорадочно поблескивали зрачки.

Егоров знал, что умирает, но не верил этому, а если поверить, то надо было сорваться с носилок немедленно и броситься туда, где шумели и палили немцы: там можно было еще посчитаться, но в глубине души Федя надеялся, что будет жить; нельзя же в самом деле умереть, когда осталось столько дел!

И он берег себя, лежал тихо, не шевелясь, стараясь ни о чем не думать.

Егоров, как и Сибирко, вырос на этом спуске, отсюда он пошел в университет, изучал в подлинниках восточных поэтов, а когда началась война, стал черноморцем. И совсем нелепо получилось, что вот он оказался раненым. Он пытался бодриться, но сил становилось меньше с каждой минутой.

Десять носилок быстро спускались к морю. У пристани ждал последний катер. На носилках лежали тяжело раненые краснофлотцы. Целые сутки держали они оборону на городской окраине, бились с мадьярами врукопашную и бесили немцев своим нечеловеческим упорством.

— Русс, не надо! — кричали им немцы.

— Почему не надо? — отвечали краснофлотцы.— Ще как надо! — и в упор расстреливали наседающих солдат.

Когда пришел приказ об отходе, смертельно раненых моряков вынесли из-под огня товарищи, наспех сделали перевязки, и вот еще несколько шагов, и кончится крымская земля.

У пристани носилки столкнулись с толпой женщин. Их было человек пятнадцать. В самую последнюю минуту им удалось выбраться из обвалившейся штольни, где они укрывались от бомбардировок, обстрелов в жестокие недели немецкого штурма. Теперь женщины бежали под ливнем пуль и осколков из города, прижимая к себе плачущих детей, надеясь найти спасение на отходящем катере. Некоторые из них были ранены, но они не чувствовали боли. Лишенные крова, беззащитные, перенесшие много страданий и горя, они хватали за руки краснофлотцев и молили:

— Не оставляйте нáс здесь, не оставляйте...

Появление женщин было столь неожиданным, что командир катера растерялся. Катер был слишком мал, чтобы вместить всех, надежд повторить рейс не было никаких. Немцы занимали одну улицу за другой, они могли появиться на пристани с минуты на минуту.

Женщины обступили командира и ждали ответа. Дети перестали плакать. От одного слова командира зависела судьба и жизнь этих людей. Раненые напрягали слух, тоже ждали последнего командирского слова. Но командир молчал. Молчание было томительным и долгим.

У Егорова сильно застучало в висках, он закрыл глаза и представил себе женщин, идущих под конвоем немецких молодчиков, их погонят на позор, на мучение, на смерть; ему почудилось, что он уже слышит издевки солдат, детский плач и материнские причитания. У Егорова захватило дыхание, лоб покрылся испариной, а командир все молчал. Это был опытный

боевой командир, и не раз попадал он на своем катере в сложные переплеты, но всегда находил выход, а сейчас выхода не было.

— Товарищ командир, — неожиданно раздался голос Феди Егорова. Голос был слаб, он дрожал и срывался. — Товарищ командир, оставьте нас здесь...

Больше Егоров не мог говорить, нехватало дыхания.

— Петр... Сибирко...

— Я, Федя!

— Продолжай за меня, друг.

— Есть продолжать!

Мичман Сибирко напряг все силы, хотя и у него были они на исходе.

— Мы здесь останемся, товарищ командир. Вы не смотрите, что мы ранены на смерть. Это ничего особенного... мы еще можем работать... мы еще скажем немецким гадам свое слово, а женщин с ребятишками берите вместо нас, пускай живут. Ты о том хотел сказать, Егоров?

— О том.

— А остальные как? — обратился к раненым мичман.

— А остальные так же самое, — послышалось с носилок.

Командир знал, как недолго осталось жить раненым краснофлотцам, но оставить их здесь? Слишком тяжело и больно было думать об этом.

И, точно боясь, что командир скажет «нет», а командирское слово для черноморцев было главным словом в языке, Сибирко торопливо сказал:

— Что же, товарищ командир, или такая дешевая наша жизнь, чтобы отдавать ее смерти на койках? Э, нет! Мы ее всего дороже ценим. Умрем, как положено, с честью, и гансов с собою прихватим, а что останется дополучить, вы с остальных получите.

— Только прикажите гранаты оставить, — добавил кто-то из раненых. — Гранаты — они злее.

Больше не было слов. По молчаливому приказанию командира раненых опустили на деревянный помост пристани. Они лежали, полные решимости, уставив глаза в небо, по которому полыхали зарницы артиллерийского боя, и пунктиры трассирующих пуль, мешаясь со звездами, так походили на огонь фейерверка.

Краснофлотцы сняли с поясов гранаты и вложили их в руки остающимся товарищам. Тем временем женщин и детей вводили уже по шаткому трапу на катер. Женщины ступали, оглядываясь, толком еще не понимая, на что решились раненые моряки. Только одна простоволосая старушка, словно поняв, что происходит, крикнула: «Наши сынки, детки родные»... — и заплакала.

Когда приготовления были закончены. Сибирко заметил краснофлотца с гармошкой за спиной.

— Браток,— позвал его мичман.

Краснофлотец подошел к Сибирко; мичман увидел над собой молоденькое лицо с черными аккуратными усиками.

— Просьба у меня товарищ. Когда отчалите, встань, друг, на корму и сыграй нам напоследок песню про широкое море. Уважь просьбу.

— Ладно,— ответил краснофлотец и быстро отвернулся...

Катер отходил. Последний катер отходил от севастопольской пристани. Все шире и шире становилась полоска воды между маленьким кораблем и оставшимися на пристани черноморцами.

Немцы заметили катер. Потоки трассирующих пуль хлынули ему вслед, мины рвались у самых бортов, вспенивая воду бухты.

Но, плюя на огонь, как было условлено, на корме встал во весь рост молодой черноусый матрос-гармонист и заиграл про широкое море.

И вдруг люди катера услышали, как песню подхватили на пристани. Ее пел во всю последнюю силу свою Сибирко, ее шептал Федя Егоров, пели парни с Донбасса, Алтая, из Казани и Гуляй-поля, и она пошла над бухтой, над разрушенным городом — грустная и суровая человеческая песня, наполняя сердце болью и яростью.

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от русской земли.

И порою казалось, что пели не люди, а Севастополь, вся крымская земля пела и просила: «Не забывайте нас, помните о нас, возвращайтесь, мы ждем...»

Катер уходил все дальше и дальше. Глуше звучала песня. Наконец, с берега донеслись выстрелы и вой, это, должно быть, немцы ворвались на пристань, а затем по бухте прокатился взрыв, и огневые вспышки озарили ночь.

Гармонь смолкла. Краснофлотец поднял высоко над головой сжатые кулаки и крикнул так неистово и громко, что, казалось, шатнуло катер:

— Будет разговор! Будет...— Но вдруг осекся и просто добавил: — разговора не будет, будет дело.

Леонид Соболев

СОЛОВЕЙ

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл к румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь,— неуловимые, смелые, быстрые «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик, красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них нехватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, воющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди попрыгали под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых, полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипенье гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они только обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клох-

танье курицы означало, что у хаты замечен часовой, кряк утки, — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свеже и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ясном свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и когда замирал последний утончающийся и переходящий в хорошую умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали каждый о своем: о прошедшем удачно ночном набеге, о раненом друге, о письме от далекой семьи, о жизни, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто нарушил нам эту жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу: сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистал, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки толкнули друг друга. Они оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат его валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки

наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он все свистел и щелкал, даже тогда, когда все сели в шлюпки и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и пение соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем последней жалобой, и моряки на шлюпке гребли яростно и быстро, прислушиваясь, свистит ли еще их соловей.

М. Шолохов

НА ЮГЕ

(Отрывок)

...Всю ночь немцы шастали по дворам, птицу, скотину резали, заставляли женщин стряпать им, по сундукам, по кладовым шарили... Ну, как во время пожара было в деревне! Скотина ревет, собаки воют, девки голосят по мертвому. От этого шума на двор было ужасно выйти, право слово!

К утру угомонились. Вышел я на рассвете за налитку. Гляжу — сосед мой, Трофим Иванович Бидюжный, лежит возле колодца убитый, и ведро возле него валяется. Убили за то, что ночью вышел воды зачерпнуть, а по немецким законам мирным жителям ночью и до ветра выйти не разрешается. Утром они еще одного, хлопчика 12 лет, застрелили. Подошел он к ихней мотоциклетке поглядеть — ребятишки-то ведь до всего интересанты,— а немец с крыльца прицелился в него из револьвера, и готово. Мертвых хоронить не разрешали. Матери-то каково было глядеть на своего сынишку. Глянет из окна, а он лежит около сарая, снегом его заносит, глянет и упадет наземь замертво. Водой ее домашние отливают. Видал и я его, когда на собрание нас сгоняли. Шел мимо и видал... Что же, лежит малое дите, согнулось калачиком и к земле примерзло. Девки возле школы лежали: юбки поверх голов завязаны телефонной проволокой, ноги в синяках. Кому надо мимо школы проходить, стороной обходят. Только тогда и прибрали убитых, когда эта часть ушла...

Старик рассеянно взял предложенную ему папиросу, повертел ее в руках и после короткого молчания продолжал рассказ:

— У меня в хате четверо квартировали. В первый же день зарезали супоросую свинью и двух овец. Что тут пожрали, а остальное с собой увезли. Овчины и то забрали. По сундукам, по кладовке с утра начали шарить. Что им было подходящее — забирали. Много добра с собой увезли, а в последний день дошла очередь и до моих валенок. Оделись они выступать, машины позавели, и тут один из них, высокий такой, с нашивкой на рукаве, указывает на мои валенки и рукой помахивает — снимай, мол. Жалко мне стало лишаться последней обувки, начал я их просить, а этот, с нашивкой, сукин сын, побелел весь от злости, как схватит винтовку, штык мне к горлу приставил и орет что-то. Старуха моя в слезы, шумит мне:

— Сыми! Сыми скорее, а то убьет он тебя!

А я оробел, молчу, нагнуться не могу, только и подумал: «Вот и конец мой». Ногой ударил меня немец в живот, упал я

на лавку, не вздохну. Зеваю ртом, а воздуха никак не наберу, даже в глазах потемнело... Старуха ко мне подскочила, проворно, как молодая, сняла с меня валенки и протягивает немцу. Он, было, еще раз замахнулся на меня, колоть хотел, но увидел у старухи в руках валенки и чего-то смилостивился. Взял валенки, плюнул мне в лицо и начал обуваться. Остальные трое стоят у порога, смеются. Обул высокий валенки, сапоги свои в мешок положил, нехорошо как-то вкось усмехнулся и первый вышел из хаты.

Ушли они, а спустя время новая часть вступила в деревню. Так все они одинаково хозяйничали, что через несколько суток всю деревню нашу очистили, облупили, как вареное яичко.

— Хороша армия? — воскликнул присутствующий при разговоре молодой веснушатый и веселый лейтенант.

— Нету у них армии! — строго сказал старик. — Раньше, может, была, а сейчас нету. Не видал. Сам я служил в армии. В японской войне участвовал, с папашами нынешних немцев воевал, знаю армейский порядок, но такого, извините, не видал.

Разве раньше солдатам дозволялось грабить и мешки с награбленным за собой таскать? Греха нечего таить, брали и мы съестное, но уж детских пеленок не трогали, со стариков и старух обувку, одежку не стаскивали, с малыми ребятишками не воевали, женщин не казнили. А ныне немцам на то запрета нет. Им все дозволено: что на ум взбредет, то и сделают. Потом армия по форме должна быть одетая. А у них как? Один — в шинели, на другом — нагольный полушубок, с соседа моего снятый, на третьем — поверх мундира обыкновенное бабье серого драпа пальто. Конечно, все они при оружии, но ведь и лихие люди, которые раньше на больших дорогах промышляли, тоже при оружии были...

И вот пошли в моей хате меняться постояльцы. Нынче — одни, завтра, глядишь, — другие и все разных держав. Один говорит: «Я — поляк», другой: «Я — венгерец», а третий молчит, но его по глазам, по воровской ухватке видно, что он — обязательно немец! Ну, я этим, какие себя называли, не верил: «Брешете, — думаю, — вы, проклятые! Никакие вы не поляки, не венгерцы. Будь ты поляк — воевал бы ты за свою Польшу, а венгерец — за свою венгерскую землю. А то так вы вроде грибов поганых, выросли из одной навозной кучи, одним духом и дышите».

Был при мне такой случай: входит в хату ихний унтер и быстро что-то говорит солдату, какой назвался венгерцем, а венгерец, вижу, ни черта, ничего не понимает, плечи то поднимет, то опустит, руками разводит, и глаза у него глупые-преглупые. Потом венгерец начал по-своему лопотать, а унтер плечами вздергивает и сердится, даже щеки у него краснеют.

Лоб в лоб уперлись, как бараны, лопочут каждый по-своему, никак один другого не поймут. Между собой нет у них одной речи, а по разбою у всех один язык; хлиб, яйки, молоко, картошки давай, капут,— все говорят, и каждый либо штыком смерть показывает, либо коробкой спичек гремит — сжечь грозит. А вы говорите — армия. Какая же это армия, когда все они как будто из одной тюрьмы выпущенные?

За окном стояла морозная ночь. В печурке жарко горел угольный штыб. Старик снял со спинки кровати поношенную шубейку, кряхтя стал одеваться и, уже просунув руку в рукав, еще раз упрямо повторил:

— Нету у них армии, точно говорю.

С почтительной сдержанностью обращаясь к нему, лейтенант сказал:

— Вы, папаша, конечно, правы, но у них тоже есть идея, за которую они воюют.

Старик на секунду застыл с распяленной на руках шубой, но потом, как бы опомнившись от изумления, сурово спросил:

— Какая такая идея? Нету у них никакой идеи, да и слово это для них неподходящее.

— А вот есть она,— утверждал лейтенант, пряча в глазах чуть приметную улыбку.

Присев на кровать, старик молча всматривался в лицо лейтенанта и хмурил рыжеватые седеющие брови. Голос его звучал с ехидной официальностью, когда он попросил:

— Тогда объясните мне, товарищ командир, об ихней идее, потому что я человек малограмотный и, может, не так это слово понимаю...

— Вы не серчайте, папаша,— примирительно сказал лейтенант.— Идея у них точь-в-точь такая, как вы рассказывали. Дней пять назад окружили мы их обоз из 30 с лишним подвод. Залегли немцы возле повозок, отстреливаются. Дело их конченое, деваться им некуда, но они не сдаются. Рядом со мной лежал молодой боец, только недавно прибывший в часть с пополнением. Видит он, что немцы так упорно обороняются, и говорит мне: «Видно, это идейные фашисты, товарищ лейтенант. Смотрите — не хотят сдаваться». — «А вот,— говорю,— перебьем их, тогда и посмотрим, что у них за идея».

Ну, перебили их, как полагается, вчистую, начали тюки рассматривать. Обоз-то шел в тыл, а в тыл, кроме раненых, известно, что они отправляют. Распороли один тюк — детская обувь, отрезы ситцу и всякий другой материал, женские пальто, демисезонные и меховые, пишено в мешочках, галоши и прочее барахло. В другом мешке — такая же история. Подзываю я бойца, который заподозрил немцев в идейности, и говорю: «Ви-

дишь, что у них в мешке?» — «Вижу».— «Ну, вот,— говорю,— и вся их идея, за какую они сражались. Идея-то их целиком в мешок влезет, а подкладка у нее ситцевая. Понятно?» — «Понятно теперь», — говорит красноармеец и смеется.

Старик внимательно выслушал лейтенанта, потом заговорил, и в голосе его зазвучало нескрываемое превосходство.

— Не так ты говоришь, сынок, хотя ты и командир по чину! Не знаешь ты, что такое идея, а вот я тебе объясню. Наш председатель колхоза Иван Иванович Черепица, бывало, скажет: «Есть у меня, граждане, идея плотину на Сухой Балке насыпать и зеркального карпа в том пруду разводить». Всем миром взялись, сделали и перед войной уж полторы тонны карпа на базар вывезли, не считая того, что пошло на общественное питание.

Или так скажет: «А как, граждане колхозники, насчет такой идеи, чтобы мельницу-турбинку построить?» Глядишь — спустя время мельница готова, и даже из соседних колхозов везут к нам зерно молоть. Такая же была идея и с пасекой, и с шлейскими овцами, и мало ли еще с чем по хозяйству.

Теперь тебе понятно, что означает идея? Это, милый человек, означает такое дело, от какого происходит народу одна польза. А ты это хорошее слово к грабежу припрягаешь. Грабеж, он так и называется грабежом. Грабят немцы? Очень даже грабят. Значит, слово это им недоступное, и рядом с немцами его ставить нельзя, а то оно вымажется около этих сукиных сынов. Молодые вы люди и кое-чего в жизни недопонимаете. Это я точно говорю!

Алексей Сурков

ВОЗВРАЩЕНИЕ

День к вечеру клонился. Чуть дрожа,
Зной обтекал сухого пепла горы.
Поодаль от пустого блиндажа
Привал разбили под стеной саперы.
Пшено варилось в черных котелках,
На дно мучнистым слоем оседая.
С двухлетним мальчуганом на руках
К нам подошла крестьянка молодая.
Огонь лизал промасленную жесть,
Косматился, играл меж котелками.
Ребенок плакал: — Мама... хлебца... есть...
И пар ловил опухшими руками.

Мне очень трудно продолжать рассказ,
Мне сердце жгут слова ребячьи эти.
Мы все отцы. У каждого из нас
Остались дома маленькие дети.
Чтоб ты ни делал, где бы ты ни жил,
Их образы встают, как из тумана.
Сапер миноискатель отложил,
Сухарь и сахар вынул из кармана.

Я видел, как сапер от слез ослеп,
Когда ребенок, и смеясь и плача,
Схватив ручонками солдатский хлеб,
Его жевать поспешно, жадно начал.
Ты не забудешь никогда, солдат,
Опухшие, бессильные ручонки,
Блуждающий, совсем не детский взгляд
И синий ротик этого мальчонки.

Твой горький труд его от смерти спас,
Вернул для жизни щупленькое тело.
Тебе и мне и каждому из нас
Страна прощать обиды не велела.

Когда ты немца встретишь за рекой,
В такой же вот блиндажной черной яме,
И ничего не будет под рукой,
Ты в глотку немца вцепишься зубами.

Ты будешь грызть, терзая и душа,
Пока не станет он белее мела,
Пока его разбойная душа,
Душа гадюки, не покинет тела.

Сергей Васильев

РУССКАЯ МАТЬ

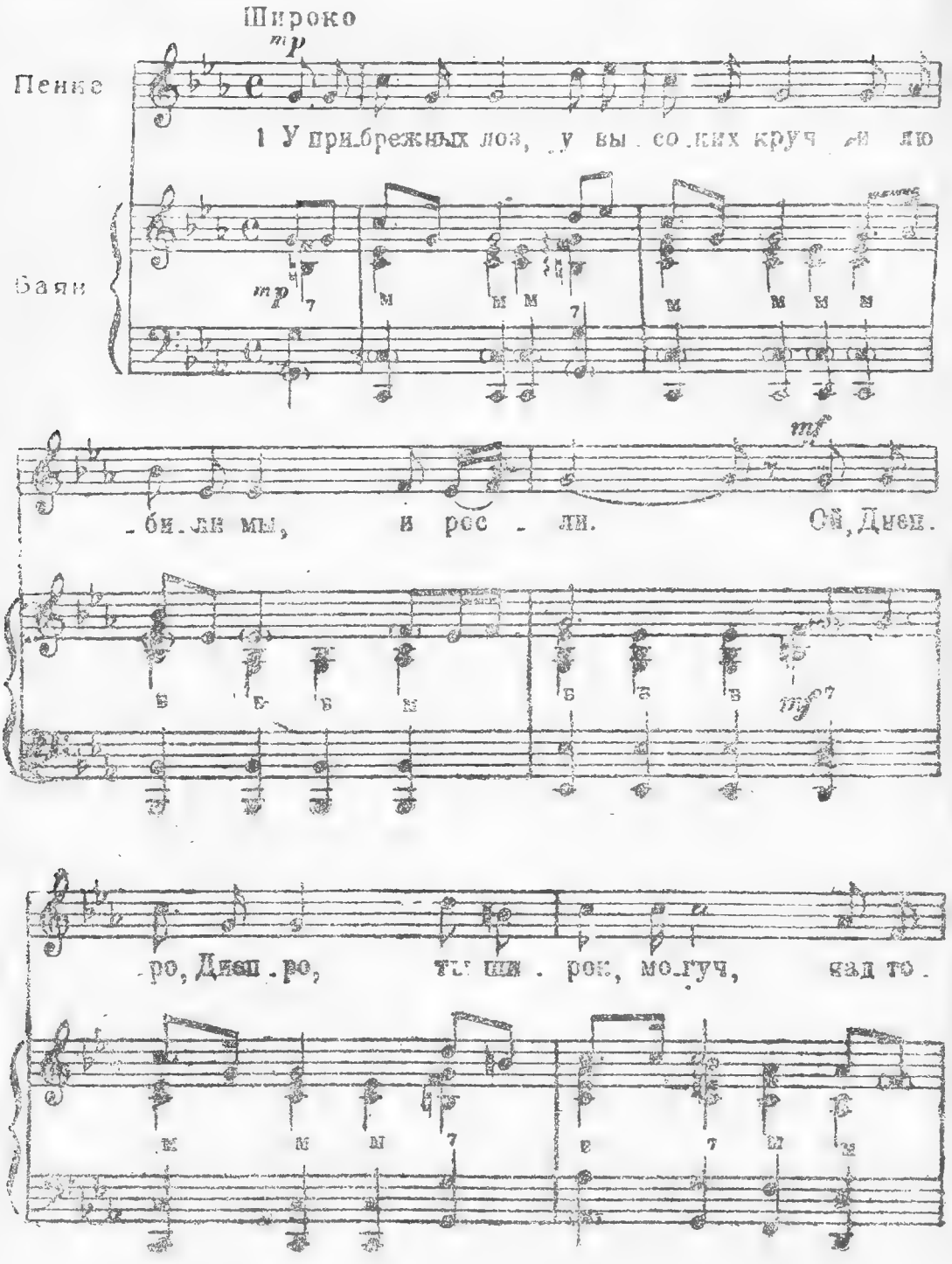
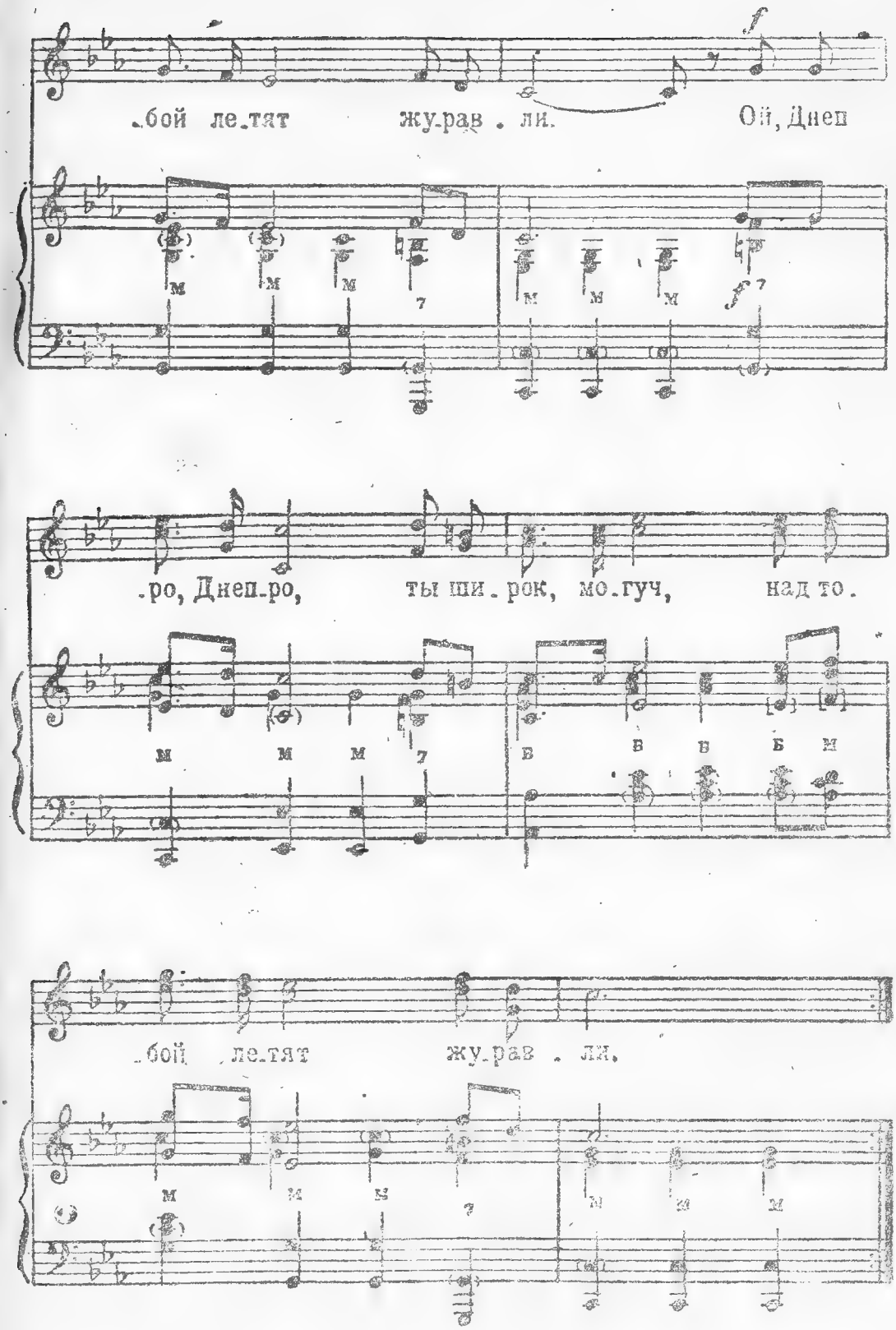
(Рассказ Агриппины Куликовой)

Глаза воспалены. Красивые черты
избороздило, иссушило время:
Ей трудно говорить. То — приступ тошноты,
то — ломит грудь, то — больно ноет темя.
Превозмогая боль и кутаясь в платок,
она рассказывает глухо, но раздельно.
И горек тихих слов ее поток,
произносивших с гневом беспредельным:

— Сынки мои! Уж очень я стара,
Седьмой десяток лет я промахнула...
Я, как на грех, взяла да прихворнула.
Темнеет. За окном мокропогодит.
Лежу одна! И чую по стрельбе,
Что наши за околицу отходят.
Неужто, — думаю, — не выйду из села.
Зажгу избу и двинусь понемногу.
И поднялась.
Соломы принесла,
Надевши валенки на босу ногу.
Легко ли рушить мирный свой очаг!
Стою, гляжу... В руках трясутся спички.
Перекрестилась трижды сгоряча,
не то, чтоб так, а больше по привычке.
Одно беда,—уж больно я стара.
Пока я за соломой-то ходила,
а немцы вот они. Бормочут у двора.
Ко мне валит чумная, вражья сила.
Забрали немцы все мои пожитки.
Половики, подушки, сухари, —
все загребли, до капельки, до нитки.
На этом бы и кончить мне рассказ,
казалось бы, уж сказано немало,
да упредить должна я сразу вас,
что это не конец, а лишь начало.
Я вышла.
Постояла за крыльцом.
И слышу вновь поганый вой
немецкий.
Гляжу —
стоят разбойники кольцом,
а посередке —
наш боец советский.
И тут же рядом, у плетней витых,
три наших деревенских человека.
Две бабки, древних, жилых и слепых,
да мой сосед, Иван Лыньков, калека.
Тот самый гад, что бил меня в дому,
сидит, как на престоле, под
скворешней.
— Чей, — спрашивает, — сын? Кто
родственник ему?
А что сказать, когда боец не здешний.
Быть может, тульский он, а может,
из Ельца —

не все ль равно — одна любовь и вера.
Вдруг вырвался, сердешный, из кольца,
да как наотмашь хватит офицера!
Качнулся гад и сковырнулся с ног
И угодил шальной башкой о бревна.
Я не сдержалась
— Мой, — кричу, — сынок!
Мой золотой, единственный и кровный.
Схватили тут меня и под гору силком...
И паренька, что я назвала сыном.
И завалили нас обоих хворостом
и облили обоих керосином.
Ну, думаю, приходит наш конец!
Да тут, вишь, самый бой-то и начался...
Я вот жива, а раненый боец,
слыхала я, не выдержал — скончался.
Умолкла Агриппина. Поздний час.
На миг нам кажется, что мы внезапно глухи.
Озноб и гнев охватывает нас,
Услышавших рассказ седой старухи.
Мы в восхищеньи рядом с ней стоим.
Мы за тебя, родная, отомстим!
Мы все сынки твои,—
Ты правильно сказала.

ПЕСНЯ О ДНЕПРЕ

Слова *Е. Долматовского* — Музыка *М. Фрадкина*


.бой ле.тят жу.рав . ли. Ой, Днеп
.ро, Днеп.ро, ты ши.рок, мо.гуч, над то.
.бой ле.тят жу.рав . ли.

У прибрежных лоз, у высоких круч
И любили мы и росли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли. } 2 раза

Ты увидел бой, Днепр, отец-река,
Мы в атаку шли над горой.
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он, как герой. } 2 раза

Из твоих стремнин ворог воду пьет,
Захлебнется он той водой.
Будет славный день, мы пойдем вперед
И увидимся вновь с тобой. } 2 раза

Бьет фашистский сброд Украина-мать
Партизанкою на Днепру.
Скоро выйдет вновь сыновей встречать,
Слезы высохнут на ветру. } 2 раза

Кровь фашистских псов пусть рекой течет.
Враг советский край не возьмет.
Как весенний Днепр, всех врагов сметет
Наша армия, наш народ! } 2 раза

Александр Прокофьев

СТАЛИНГРАД

Сталинград — наша гордая слава,
Боевой наш товарищ и брат,
Поклялися родные заставы
На тебя походить, Сталинград.

На тебя походить, где долинный,
Где степной древнерусский простор,
Здесь поднялся наш эпос былинный
Выше частых лесов, выше гор.

Вот он, вечный, великий, изустный,
Над грозой распростертый в дыму,
Песней доблести воинской, русской,
Гимном мужеству твоему.

Выше частых лесов он дремучих,
Громче шага гвардейских полков,
Выше скал, поднимающих тучи,
Выше синей гряды облаков!

Этой битвой по праву и долгу
Не года открывать, а века!
Над тобою бессмертие, Волга,
Знаменитая наша река.

Рядом солнце багровой звездою,
Не узнать, где восход, где закат!
Рядом бьется с поганой ордою
Молодой богатырь Сталинград!

Здесь простертые в дыме и сини,
Разделенные грозной чертой,
Красный стяг над полками России,
Черный флаг над поганой ордой!

Сталинград, наша гордая слава,
Величава она, велика,
Этой битвой по долгу и праву
Не года открывать, а века!

Демьян Бедный

ПРЕД МИРОМ ЗАСВЕРКАЛ...

Рычат и щерятся, и пятятся враги
Пред мощным натиском с востока.
Им ясно слышатся железные шаги
Их настигающего рока.

Преступнейший маньяк сулил им навсегда
Отдать наш край родной и нашу жизнь в награду.
С какою лютостью разбойная орда
Рвалася к Волге, к Сталинграду!

Фашистских выродков, вошедших в буйный раж,
Зверей, охваченных грабительским угаром,
Манил слепивший их мираж —
Решить борьбу одним ударом.

Но волжский богатырь, как грозная скала,
Стоял, громя врагов, кромсая их тела,
Круша их технику, выматывая силу.
Здесь вражья наглость обрела
Свою позорную могилу!

Нет, не на вражьей стороне
Возникли образцы для новых поколений:
В народом кованной броне
Пред миром засверкал — в боях, в громах, в огне —
Наш стратегический победоносный гений!

Враг отбивается, встать силясь на дыбы,
Но Сталинград уже предрек исход борьбы,
Событий мировых став вехою рубежной.
Фашистам не спастись от ждущей их судьбы,
Заслуженной и неизбежной!

Алексей Сурков

ПЕСНЯ ГВАРДЕЙСКОЙ ПЕХОТЫ

Победно гремит канонада
И звонкая песня свинца
От славных твердынь Сталинграда
До снежного плеса Донца.
Метели в степи закипают,
Снега на пути глубоки.
И ночью и днем наступают
Гвардейские наши полки.
И крепнет от боя до боя
Гвардейская наша семья.
На запад.
На запад, герои!
Вперед, боевые друзья!
В порывах январской метели
Мы путь пробиваем штыком.
И Сталин в походной шинели
Идет перед нашим полком.
Он в битву, по берегу Дона,
Идет с пехотинцами в ряд.
Гвардейские наши знамена
Огнем его славы горят.

И крепнет от боя до боя
Гвардейская наша семья.
На запад.
На запад, герои!
Вперед, боевые друзья!
Мы платим за слезы и горе,
Врагу отрезаем пути.
Кровавой разбойничьей своре
От наших штыков не уйти.
По свежему вражьему следу
Выходят в атаку стрелки.
В огне добывают победу
Гвардейские наши полки.
И крепнет от боя до боя
Гвардейская наша семья.
На запад.
На запад, герои!
Вперед, боевые друзья!

Илья Эренбург

КАК ВОЮЕТ РОССИЯ

Немцы теперь возят шведских журналистов по захваченным городам Украины. Это, конечно, не живые журналисты: их долго отбирали и долго наставляли. Но все же это не гитлеровцы, это — шведы. Они шлют в свои газеты сдержанные, однако достаточно выразительные корреспонденции. Недавно корреспондент «Дагенс Нигетер» описывал Киев под немецкой пятой: «Мертвый черный город. По ночам раздаются взрывы: взлетают в воздух гостиницы и дома, занятые немцами». Вчера другой корреспондент в стокгольмской газете «Социаль-Демократен» рассказывает о жизни в Николаеве: «Ночью здесь абсолютно темно, так как электричества нет. Не хватает питьевой воды. Напившиеся из реки 15 румынских солдат недавно умерли от холеры. Ночью, когда мы легли спать, началась бешеная стрельба: стреляли итальянские солдаты. Оказалось, что в городе не прекращается диверсионная деятельность, и поэтому итальянцы стали чрезвычайно нервными. Германский офицер предупредил нас, что с наступлением темноты опасно выходить на улицу. Мы осмотрели гигантские верфи. Они уничтожены. Немцы говорили нам, что на верфях возобновилась работа, но я должен признаться, что мы не видели ни одного рабочего».

Нет, советские рабочие не хотят работать на немцев! Медвежьей болезнью заболели «богатыри» Антонеску, а «храбрые»

вояки Муссолини со страха по ночам расстреливают все патроны. Николаев не сдался, не умер. Когда великодушная ночь опускается на его развалины, он берет винтовку партизана, гранаты, динамит и бьет врага: немцев, итальянцев, румын.

По ночам я слышу далекий гул. Мне кажется, что это перекликаются плененные врагом советские города.

Первым говорит красавец Киев: «Пеплом я посыпал мою голову, пеплом сгоревших домов. Темно и пусто теперь на веселом Крещатике. На горбатых улицах ночью не смеются прохожие. Только изредка раздается выстрел: еще один окаянный немец пал от честной и верной пули. И вдруг — грохот. Это летит к небу дом с геррами-оберстами и обер-лейтенантами. Говорит Киев. Говорит Киев. Мать городов русских. Столица Украины. Киев не сдался. Я видел не раз врагов в моих стенах. Я видел не раз трупы врагов — они плыли вниз по Днепру. Я — в строю. Москва, слышишь?»

Говорит милая южанка. Одесса: «Вшивые румыны шляются по моим улицам. Сутенеры из Бухареста грабят мои дома. Но я умею мстить. Я бью румын днем и ночью. Генерал Антонеску уже узнал, что такое Молдаванка. Я буду кормить рыб в море румынской падалью. Я помню Пушкина. Я помню «Потемкина». Я не ветреная красавица. Я — Одесса. Слышишь мою клятву, Москва?»

Говорит древний Новгород. Он бьет в вечевой колокол. Он поднимает на ноги окрестных партизан. Он клянется своими древностями. Он говорит через леса и болота: «Господин Великий Новгород остался русским. Слышишь, Москва?»

И тотчас раздается голос старого Пскова: «Я с Новгородом. — Я — с Россией».

На другом конце нашей страны говорят горняцкие города. Говорит Сталино: «Я здесь. Рабочим потом, черными от угля жилами, моей кровью клянусь, что не оставлю живым врага».

Говорит Днепропетровск: «Я сжег мои заводы. Я скрестил на груди руки. Днем я молчу. Ночью стреляю».

И в ночи отвечает Москва, она отвечает плененным советским городам: «Над Кремлем звезды. В Кремле Сталин. В сердце гордость и гнев. За себя и за вас. За всю нашу родину. Мужайтесь, города, мы победим!»

В полночь бьют кремлевские куранты. Им отвечают выстрелы. Война не останавливается ни на час: война на фронте и война во вражеском тылу. Киев завоеван немцами? Нет, он послан врагу в тыл, он сражается. Сражается весь народ и вся страна. Даже русские реки травят чужеземцев. Даже тишина мертвых городов сводит врагов с ума. Так воюет Россия.

М. Исаковский

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ

1

Лесом, полями — дорогой прямой
Парень идет на побывку домой.
Ранили парня, да что за беда! —
Сердце играет, а кровь молода.
— К свадьбе залечится рана твоя, —
Песню поет он, довольный судьбой:
«Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится, хочет упасть...»
Ранили парня, да что за напасть! —
Скоро он будет в отцовском дому,
Выйдут родные навстречу ему,
Станет его поджидать у ворот
Та, о которой он песню поет.
К сердцу ее он прильнет головой... —
«Крутится, вертится шар голубой».

2

Парень подходит. Нигде никого.
Горькое горе встречает его.
Черные трубы над снегом торчат,
Черные птицы над ними кричат.
Горькое горе, жестокий удел! —
Только скворешник один уцелел.
Только висит над колодцем бадья.
— Где ж ты, родная деревня моя?
Где ж эта улица, где ж этот дом,
Где ж эта девушка — вся в голубом?..
Вышла откуда-то старая мать:
— Где же, сыночек, тебя принимать?
Чем же тебя накормить, напоить,
Где же постель для тебя постелить? —
Все поразграбили, хату сожгли,
Настю-невесту с собой увели...

3

В дымной землянке погас огонек,
Парень в потемках на сено прилег.
Зимняя ночь холодна и длинна, —
Надо бы спать, да теперь не до сна.
Дума за думой идет чередой:

— Рано, как видно, пришел я домой.
Нет мне покоя в родной стороне,
Сердце мое полыхает в огне,
Жжет мою душу великая боль.
Ты не держи меня здесь, не неволь:
Эту смертельную муку врагу
Я ни забыть, ни простить не могу...
Из темноты отзывается мать:
— Разве же стану тебя я держать?
Вижу я, чую, что сердце болит,—
Делай, как знаешь, как совесть велит...

4

Поле да небо. Безоблачный день.
Крепко у парня затянут ремень,
Ловко прилажен походный мешок,
Свежий хрустит под ногами снежок,
Вьется и тает махорочный дым, —
Парень уходит к друзьям боевым.
Парень уходит — судьба решена.
Дума одна и дорога одна...
Глянет назад — в серебристой пыли
Только скворешня маячит вдали.
Выйдет на взгорок, посмотрит опять,
Только уже ничего не видать.
Дальше и дальше родные края...
— Настенька, Настенька — песня моя!
Встретимся ль, нет ли мы снова с тобой?
«...Крутится, вертится шар голубой...»

Виктор Гусев

МАТЬ И СЫН

В далекий дом в то утро весть пришла,
Сказала так: «Потеря тяжела.
Над снежною рекой, в огне, в бою
Ваш муж отчизне отдал жизнь свою».
Жена замолкла. Слов не подобрать.
Как сыну, мальчику, об этом рассказать?
Ему учиться будет тяжело.
Нет, не скажу.
А за окном мело,
А за окном седой буран орал.
А за окном заводы, снег, Урал.

И в школу тоже весть в тот день пришла,
Сказала: «Школьники, потеря тяжела.
Отец Володи вашего в бою
Отчизне отдал жизнь прекрасную свою».

И сын об этом от товарищей узнал,
Сидел среди друзей, весь вечер промолчал.
Потом пошел домой и думал он:
«Как быть?»

И матери решил не говорить.
Ведь нынче в ночь ей на завод итти.
Об этом скажешь, — не найдет пути.

С тех пор о нем и вечером и днем
Они друг другу говорят, как о живом,
И вспоминают все его слова,
И как он песни пел, как сына целовал,
И как любил скорей притти домой,
И он для их любви действительно живой.
Вот только ночью мать слезу смахнет,
В подушку сын украдкою всплакнет,
А утром надо жить, учиться, побеждать,
Как силу их сердец мне передать!

ВЕСНА В ЛЕНИНГРАДЕ

1

Нева замерзала тогда,
Когда немцы пошли в наступленье,
И всю зиму стонала вода
Под немыслимой тяжестью льда,
в слепоте, в глухоте и томленьи.
— Как там город любимый живет? —
тосковала вода и не знала,
устоял ли,
дожил ли...
И вот,
под напором разгневанных вод
проломился измученный лед,
и Нева Ленинград увидала.
Ленинград, Ленинград, Ленинград!
Да прославится хлеб его черствый,
и безмолвье ослепших громад,
и дыханье крутых баррикад,
и людей непрощающий взгляд,
и сердец непокорных упорство.
Все, как прежде:
мосты над Невой,
тетивою натянутой туго,
и у штаба боец-часовой,
и балтийца бушлат боевой,
и шальная весенняя вьюга.

И опять отразился в воде,
на высоком ветру не сгорая,
тот костер, разожженный везде,
опаленных в борьбе и в труде
знаменитых знамен Первомая.
Будь спокойна, родная вода!
Не падет ленинградская слава.
Мы стоим, как стояли всегда,
И Нева покатилась тогда
широко, как в былые года,
успокоенно и величаво.

2

В теченьи этой медленной зимы,
круша ее железные потемки,
— Мы не уступим. Каменные мы, —
ты говорила голосом негромким.
И, наконец, изнемогла зима,
Открылись заволоченные дали.
Чернеют разбомбленные дома, —
они мертвы, они не устояли.
А мы с тобой выходим на мосты,
и под крылом торжественного мая,
волнуешься и радуешься ты,
причины до конца не понимая.
А мы с тобой на облачко глядим,
и ветер нам глаза и губы студит.
А мы с тобой негромко говорим
о том, что было, и о том, что будет.
Мы вырвались из этой длинной тьмы,
прошли через заслоны огневые.
Ты говорила: — Каменные мы. —
Нет,
мы сильнее камня.
мы — живые.

3

Там, где Нева в седой гранит одета,
недоуменных вод не шевеля,
стоят,
подобно песне недопетой,
два недостроенных военных корабля.
Умолк металл, и замерла работа,
но в неподвижных контурах живет
изогнутая линия полета,
крылатое стремление вперед.
Стальную грудь, стремящуюся к морю,
неумолимый сдерживает трос,
и на закате не играет зорю
от ветра отвернувшийся матрос.
И по ветрам тоскующие снасти,
и борт, томящийся по глубине,
все наше недостроенное счастье
пронзительно напоминают мне.
А по весенней набережной мимо
балтийские проходят моряки,

вдыхают запах дегтя, моря, дыма,
упрямые сжимают кулаки.
Их никакой тоске не успокоить.
Им ни в каком огне не догореть.
Они хотят все корабли достроить,
все песни недопетые допеть.
Им можно нанести любые раны,
но их нельзя согнуть и победить.
Переживем и бури, и туманы,
и жизнь вернется, и взметнутся краны,
И наше счастье выйдет в океаны,
взяв курс на Запад.
Так тому и быть.

Владимир Лифшиц

ЛЕНИНГРАДЦЫ

Вкруг тебя, Ленинград,
Мы стоим, как живая ограда.
Гром твоих батарей
Предвещает решающий бой...
Враг покатится вспять!
Он отхлынет от стен Ленинграда!
И торжественный памятник
Встанет над нашей Невой...

Кто займет пьедестал?
За врагом ли стремящийся летчик?..
Или просто стрелок,
Выходящий с гранатой на танк?..
Может, строгий связист?..
Может, бьющий в упор пулеметчик?..
Может, скромный сапер,
Что со смертью играет ва-банк?..

Может, смелый расчет,
Стеганувший прямою наводкой?..
Или снайпер в халате,
С винтовкою бросший в окоп?..
Или хитрый разведчик
С ножом и неслышной походкой?..
Или дед-партизан
Средь болот и неведомых троп?..

Может, будет на нем
Сандружинница,
Маленький Чижик,
Ленинградская дочка,
Любимая нами до слез?..
Или славный танкист
В рукавицах, прожженных и рыжих?..
Или, сбросив бушлат,
Беспощадный балтийский матрос?..

Будут все, как один!
Будет вечно горящая лава —
Гордый русский народ —
Под смертельным свинцовым дождем.
Вольный русский народ,
Рассчитавшийся слева направо
И рванувшийся в бой
За своим непреклонным вождем!

Вера Инбер

ГОД

1

Зеленым листьям наступил конец.
В предчувствии грядущего мороза
Уже поникла юная береза,
Бледна, как необстрелянный боец.
Зато рябина, с пурпуром в петлицах,
Не в первый раз мороза не боится.

2

А на Неве ни шороха, ни плеска,
И город ало-черно-золотой
В ней отражен с венецианским блеском,
С поистине голландской чистотой.
Но наяву насколько он живей
В исконной русской прелести своей!

3

Он все такой же, как и до войны,
Он очень мало изменился внешне.
Но, вглядываясь, видишь: он не прежний,
Не все дома потрежнему стройны.
Они в закатный этот час осенний
Стоят, как люди после потрясений.

4

Один кровоточит кирпичной раной,
Тот известковой бледностью покрыт,
Там вылетели окна из орбит
(Одно из них трепещет, как мембрана),
А там неузнаваема, как маска,
Окисленная порохом окраска.

5

Осколок у подъезда изувечил
Кариатиды мраморную грудь.
Страдания легли на эти плечи
Тяжелым грузом, — их не разогнуть.
Но все же, как поддержка и защита,
Попрежнему стоит кариатида...

6

На Ленинград, обхватом с трех сторон,
Шел Гитлер силой сорока дивизий.
Бомбил. Он артиллерию приблизил,
Но не поколебал ни на микрон,
Не приостановил ни на мгновенье
Он сердца ленинградского биенье.

7

И видя это, разъяренный враг,
Предполагавший город взять с разбега,
Казалось бы, испытанных стратегов
Призвал на помощь он: Мороз и Мрак.
Они пришли, готовые к победам,
А третий, Голод, шел за ними следом.

8

Он шептуном шнырял из дома в дом,
Ныл нытиком у продуктовой кассы.
А в это время рос ледовой трассы
За метром метр. Велась борьба со льдом.
С опасностью, со смертью пополам
Был доставляем хлеба каждый грамм.

9

И Ладога, как птица-пеликан,
Самопожертвованья эмблема,
Кормящая птенцов самозабвенно,

Великий город, город-великан,
Питала с материнскою любовью
И перья снега смешивала с кровью.

10

Не зря старушка в булочной одной
Поправила беседовавших с нею:
«Хлеб, милые, не черный. Он ржаной,
Он ладожский, он белого белее.
Святой он». И, молитвенно, старушка
Поцеловала черную горбушку.

11

Да, хлеб... Бывало, хоть не подходи,
Дотронуться — и то, бывало, жутко.
Начнешь его — и съешь без промежутка
Весь целиком. А день-то впереди!..
И все же днем ли, вечером, в ночи ли
Работали, учились и учили.

12

Студент... Огонь он только что раздул.
Старательно распиленный на чурки,
Бросает он в него последний стул.
А сам перед игрушечной печуркой
На корточках (пусть пламя припечет)
Готовит он очередной зачет.

13

Старик профессор... В клетчатом платке
Поверх академической ермолки.
Насквозь промерзший, с муфтой на шнурке,
С кастрюльками в клеенчатой кошелке.
Ему бомбежка путь пересечет,
Но примет у студента он зачет...

14

Тяжелый пласт осенней темноты
Так угнетал порой невыносимо,
Что были двадцать граммов керосина
Желанней, чем в степи глоток воды.
О, только бы коптилка не погасла!..
Едва горит соляровое масло.

15

И все же не погас он у меня,
Сосущий масло, марлевый канатик,
Мерцающее семечко огня.
Так иногда в лесу светляк-фанатик
С невероятным напряженьем сил
Листок событий все же озарил.

16

Я знаю, что в грозовой этой чаще
Другим удастся осветить крупней
Весь этот год, вплоть до его корней.
Но и светляк был точкою светящей,
И он в бореньях тьмы не изнемог.
Он бодрствовал. Он сделал все, что мог.

Елена Кононенко

ЖЕНА

(Рассказ)

Старик-хирург закончил осмотр раненых, присел на табурет у постели Давыдова и сказал ему, довольно пощипывая седую бородку:

— Поздравляю вас, милый мой. Завтра мы вас выписываем. Невероятно, но это так. Поздравьте и меня, юноша. Теперь дело прошлое, и я могу сказать вам откровенно: я не надеялся на благополучный исход дела. Ведь на вас живого места не было. Одиннадцать операций, мой дорогой. Дикая орда! Они хотели, чтобы вас не было, но вы живы!

Лицо профессора светилось радостью.

— Спасибо, доктор, — горько улыбнулся Давыдов, — большое вам спасибо за все... Но...

Он замолчал. Из его груди вырвался какой-то странный звук.

— Что значит это «но», молодой человек? — изумленно спросил хирург. И вдруг увидел, что Давыдов закрыл газетой глаза, полные слез.

— Вы с ума сошли... — прошептал старик, наклоняясь над постелью летчика, — да вы что, не рады своему воскрешению из мертвых? Не рады своему выздоровлению? Скажите только одно слово: да?

Давыдов проглотил слезы и утвердительно кивнул головой. Он закрыл глаза, и слезы струились по его изуродованному рубцами, лиловому от ожогов лицу.

— Кому я... нужен такой, — прошептал он, плача, как мальчик, и стыдясь своих слез.

— Давыдов... перестаньте! Давыдов, это — нервы. Это — глупости. Это, наконец, несправедливо. Вы слышите меня, лейтенант Давыдов? Идите сейчас же ко мне в кабинет. Я жду вас... Я вам приказываю это.

Старый хирург вышел, почти выбежал из палаты. Он был взволнован, растерян и огорчен. Он, втянув голову в плечи, ходил из угла в угол своего кабинета. Этот лейтенант, которому он кропотливо сшивал множество ран, сращивал переломанные кости, этот человек, которого он спас от неминуемой смерти, был его творческой победой... И вот он заявляет, что ничего этого не надо было делать...

Гремя костылями, вошел Давыдов.

— Я вас обидел, доктор, — сказал он тихо.

— Меня? — Старый доктор пожал плечами, и очки в золотой оправе запрыгали на его переносице.— Дурень вы этакий.

Вы обидели себя. Кому он нужен?! Боже мой, вот спасай таких молодых прыгунов. Кому вы нужны? Вы нужны стране, родине, семье своей, за которую вы пролили кровь. Да вы же защитник советской земли, Давыдов, вы сшибли чорт знает сколько этих фашистских «Мессершмиттов».

Да! Вы не можете больше летать. Но вы найдете себе другое место в борьбе. Разве мало у нас найдется для вас дел? Нюня вы!..

Маленький старый доктор был прекрасен в своем гневе. Он подбежал к окну, за которым расцветала буйно сирень, и забарабанил длинными пальцами по стеклу. Седая бородка его дрожала, и очки в золотой оправе еще сильней прыгали на переносице.

Давыдов виновато улыбнулся. Старик его отругал, и ему стало легче. Он поднялся с кресла и подошел к хирургу.

— Доктор,— сказал он, касаясь подбородком профессорского плеча, — какой вы чудесный человек... Мне не хочется с вами расставаться. Спасибо вам, доктор. Разумеется, я нюня, и это очень скверно. Я обещаю вам прекратить это, доктор. Конечно, я найду место в жизни!

Несколько секунд они молча смотрели в окно. Они стояли, как отец и сын.

— Какова сирень! — примиренно бурчал старик, — какое небо нынче... Теперь это все ваше, Давыдов. Я вам все это дарю. Не плохо, а? Через несколько дней вы увидите свою жену.

Давыдов болезненно поморщился и, стуча костылями, снова сел в кресло. Он закрыл глаза.

— Что еще? Что вы еще придумали, лейтенант? — грозно спросил старик.

— У меня молодая жена, профессор. Молодая, красивая жена... — стыдливо прошептал Давыдов.

— И что же?! — сердито воскликнул хирург.— Насколько мне известно, она жива и здорова, и почтальоны устали носить от нее письма в наш госпиталь.

— Да... Маша пишет прекрасные письма... Ее письма для меня воздух. Она ждет меня. Мы очень дороги были друг другу, доктор. Но я, доктор... я должен вам признаться... может быть, это глупо... я не писал ей про это — Давыдов провел ладонью по обожженному лицу, по скошенной на три четверти ноге.

— Не мог, не мог... Скрыл, — пробормотал он, мучительно краснея.

— Вздор,— отчеканил доктор,— напрасно скрыли. Ваши рубцы — почетные рубцы. Ваши ожоги — славные ожоги. Дети

должны снимать шапки, встречая вас на улицах. Жена должна гордиться, ведя вас под руку по городу...

— Ах, доктор! — радостно засмеялся Давыдов. — Как хорошо с вами. Простите, что я расстроил вас. Я ночи не сплю, доктор. Иногда мне кажется, не лучше ли хлопотать в инвалидный дом, куда поехал мой сосед по койке Вася Курочкин. Вы знаете, что Курочкина... бросила жена. Она отказалась от него, а родных у него нет...

— Это была шлюха! — отрезал, нахмурившись, доктор. — Идите в палату, Давыдов. Сейчас ужин. Идите в палату и не терзайте свою голову дурацкими мыслями,— не для того я ее чинил!

...Но нелегко было выбросить из головы эти мысли в последнюю госпитальную ночь. Давыдов ворочался с боку на бок, бредил, стонал, пил воду, ощупывал обрубок искалеченной ноги. Когда в палате стало светло, он взял с белого столика зеркало и недружелюбно рассматривал свое лиловое изувеченное лицо.

«Глаза те же,— подумал он, и это его согрело,— глаза-то Маша должна... узнать. Она их любила».

В воскресенье Давыдов приехал в родной город. Он не телеграфировал Маше, и его никто не встретил. Румяная девушка с повязкой красного креста на рукаве вывела его на площадь, и он заковылял по зеленым кудрявым улицам, залитым утренним солнцем и влажным от недавно пролитого дождя. Пахло почками, листьями, цветами. Перед ним, как на ладони, лежал знакомый поселок, вдали белело здание заводского дома культуры, где он впервые познакомился с Машей.

Маша! Давыдов почувствовал, как все его существо затопила бурная радость. Сейчас он увидит Машу, родную свою Машу. Мучительные переживания куда-то исчезли. Давыдов забыл обо всем. Он улыбался. Он прибавил шагу, энергично выбрасывая вперед свои костыли. Вдруг споткнулся и съежился.

«Нет, я так не могу итти к Маше,— горестно подумал Давыдов и прислонился к стене дома,— надо было написать ей. Почему я этого не сделал? Как смел я молчать? Я не пойду. Она... испугается. И вообще надо было давно сказать. Она бы обдумала, решила...»

Солнечное утро померкло. Больше не радовала курчавая зелень деревьев, омытых весенним дождиком. Давыдов резко повернулся и медленно зашагал обратно на вокзал.

Он добрел до санитарного пункта и сел в углу, опустив руки, свои сильные, умные руки, которые так превосходно управляли рулем самолета. Несколько минут он сидел молча. Потом он решил написать письмо Маше. Карандаш не бегал, а метался, носился по бумаге. Давыдов писал все. Он писал, что

он изувечен, что его лицо безобразно, он называл себя калекой и уродом, он клеветал на себя, изображая все в гораздо более мрачных красках, чем это было в действительности.

«Да, я такой, Маша,— писал он порывисто, прокалывая графитом листки блокнота. Ты знала меня красивым, сильным, здоровым, тебе доставляло удовольствие, когда девушки засматривались на меня, когда мы шли с тобой по городу. Теперь, я не тот...»

Он перестал писать. Его душа протестовала. «Как это так он не тот? Разве Маша его любила только за красивое тело? Разве не остался он таким же человеком, каким был? Да ведь он стал лучше, зрелее, мудрее. Разве он не отдал бескорыстно все, что мог отдать родине, в трудный час, разве он не был крепким и храбрым солдатом в сражениях с фашистским зверьем?..»

Но он горько усмехнулся. И подмахнул сурово:

«...и если тебе не под силу эта ноша, не приходи».

Давыдов разыскал румяную девушку с повязкой на рукаве и протянул ей конверт.

— Это... очень важно... Вы ничего не говорите. Вы просто опустите в ящик... В синий ящик на дверях,— глухим от волнения голосом сказал он, и в глазах его было столько мольбы, что румяная девушка, не дослушав до конца его просьбу, взяла письмо.

Давыдов, нахохлившись, сидел в привокзальном сквере, под липой, которая была указана в письме. Он ждал, вздрагивая всякий раз, когда на дорожке показывался силуэт женщины. Легкий ветер трепал полы его смятой, простреленной шинели. Воробей сел на подушку его костыля, нагретую солнцем, дерзко чирикнул и улетел. Давыдов сидел час, два. Маши не было.

«Не придет,— тоскливо заныло в мозгу. Он испугался.— Неужели не придет? Нет, что бы ни было, а притти-то она ведь должна... Притти, сказать... Неужели не придет?»

Прошел еще час. Маши не было. Давыдов устал. Солнце напекло ему голову. Болели плечи. И еще сильнее болела душа.

«Так,— стучало в мозгу,— значит так... Так...»

Он поднял отяжелевшие веки, протянул руку к костылю. И вдруг увидел женщину. Она шла прямо к нему. Нет, она не шла, она бежала, размахивая руками, словно крыльями. Каштановые пряди ее волос разметались на ветру.

— Маша!— крикнул он в смертельной тоске, в сумасшедшей радости и затрепетал и съежился, как мальчик, над которым замахнулась чья-то тяжелая рука.

— Маша... ты видишь... Маша... ты видишь...— лепетал

он, смеясь и плача и не открывая счастливых глаз, на которые легли теплые ладони женщины.

— Как ты смеешь... как ты смеешь... нет, как ты смеешь, — дрожа от горечи, гнева, радости, повторяла женщина и гладила и целовала его бритую, пересеченную шрамами голову, его лоб, глаза, губы, его изувеченные щеки.

Она помогла ему подняться. Она взяла его под руку. Она подала ему его костыли. Надела на себя его выцветший походный мешок.

Они гордо шли рядом через весь город, залитый солнцем.

Илья Эренбург

ИЮНЬ

(Отрывок)

Это было год тому назад. Короткая июньская ночь казалась Москве обычной. Люди, засыпая, мечтали о летних каникулах, о горах Кавказа, о синем море Балаклавы. Это была ночь на воскресенье, и в клубах молодежь танцовала. На подмосковных дачах влюбленные говорили о том, о чем говорят влюбленные всех стран и всех времен. Москва поздно проснулась. Люди завтракали, когда в густой медовый полдень лета вмешался взволнованный голос диктора. Мы узнали, какой ночью была та ночь. Война... Это слово прозвучало непривычно, как первый крик сирены. Прошел год. Это слово стало жизнью.

Люди с большим сердцем отдают самое дорогое, не задумываясь. Большие народы не мерят своих жертв. Россия все дала, чтобы только отстоять свою свободу. Кто расскажет, как тяжело было взорвать Днепрогэс — гордость советского народа? О Днепрогэсе писали газеты всего мира, но мы знаем тысячи и тысячи других жертв. В украинском селе колхозница Мария Глущенко сожгла свою хату, чтобы хата не досталась немцам. Это был простой дом, но для семьи, которая в нем жила, это был свой дом, это был мир. Рука Марии Глущенко не дрогнула...

Человек, сызмальства привыкший к избытку, не знает цену вещам. В старой, дореволюционной России богатство было достоянием немногих. Можно ли понять, что такое домны Магнитки, не вспомнив о курной избе? Лапти были не только обувью, лапти были символом. Миллионы и миллионы вместо подписи покорно ставили крестик. Советский народ знал, что такое достаток: посаженные деревья только-только начали приносить плоды. Мы жертвовали не наследство, не шальную при-

блудную деньгу, но добро, оплаченное по́том героического поколения. Крым дышал запахом пороха и муската: сухая земля впитала вино. В Витебске горели склады с сукном. Люди жертвовали всем.

Россия кочевала. Кто видел караваны беженцев, их не забудет. Люди молча шли на восток. Украинские крестьяне гнали волов, шли старухи из Минска, из Гомеля, по непролазной грязи шагали горожанки в туфлях на высоких каблуках, женщины уносили грудных детей. Переезжали заводы. Снимались с места города — как корабли. Среди снега в степи устанавливали машины харьковских заводов. В далекой пустыне работал Камерный театр. Ученые дописывали книги в теплушках. Киевляне распылились среди сел Средней Азии. Башкирия приютила школы Украины. Сколько за этими словами скрыто горя, разъединенных семей, суровой жизни на бивуаке, самоотверженного труда!

Враг покушался на самое дорогое. Немецкие бомбы искалечили Новгород. Немецкие снаряды калечат Ленинград. Гитлеровцы мечтали умертвить нерв нашего сопротивления — самосознание русского народа. Для этого они уничтожали наши реликвии от кабинета Толстого до музея в Бородине. Они хотели оскорбить Россию, превратив Одессу в захолустный город вшивой Румынии и посадив наместником «Остланда» балтийского проходимца Розенберга.

В Пушкине, в аллее, которую любил молодой лицеист, на деревьях висели русские люди — пожилой человек с бородой, девушка. Многие паломники знали эту аллею, в нашей памяти она связывалась с юностью Пушкина, с юностью России. Немцы ее превратили в аллею виселиц. А женщины в освобожденных деревнях рассказывали бойцам о том, как немцы убивали детей на глазах у матери...

Долго после конца мировой войны земля вокруг Вердена оставалась бесплодной, снаряды снесли верхний слой почвы, не росла и трава. Во многих советских семьях теперь зияние: нет мужа, сына или брата. Это горе простое и непоправимое. О нем никто не расскажет: наши женщины стойко работают, и глаза у них сухие.

Передо мной письмо матери. Ее сын Игорь Азаров, боец разведывательного батальона, погиб смертью героя. Мать пишет товарищам своего сына:

«Дорогие ребята! Товарищи моего сына и теперь мои товарищи!

Я получила извещение вашего батальона о том, что мой сын, мой родной единственный мальчик убит. Мне очень тяжело. Мне трудно пережить горе, которое свалилось на меня, больного человека, но я постараюсь держать себя так, чтобы своей работой

принести пользу родине и отомстить проклятым, трижды проклятым гадам, напавшим на наш Союз, исковеркавшим столько человеческих жизней и убившим моего сына. Сына, которого вы знали, я одна, женщина, с трудностями растила и воспитывала и учила. Мой сын, как огонек будущего, светил мне в тяжелой моей жизни.

Я прошу вас написать мне, где похоронен мой сын, и отметить его могилу.

Вы теперь, ребята, все мои сыновья. Не забывайте меня. Если кому что нужно, я все для вас сделаю. Я вас люблю так, как любила сына.

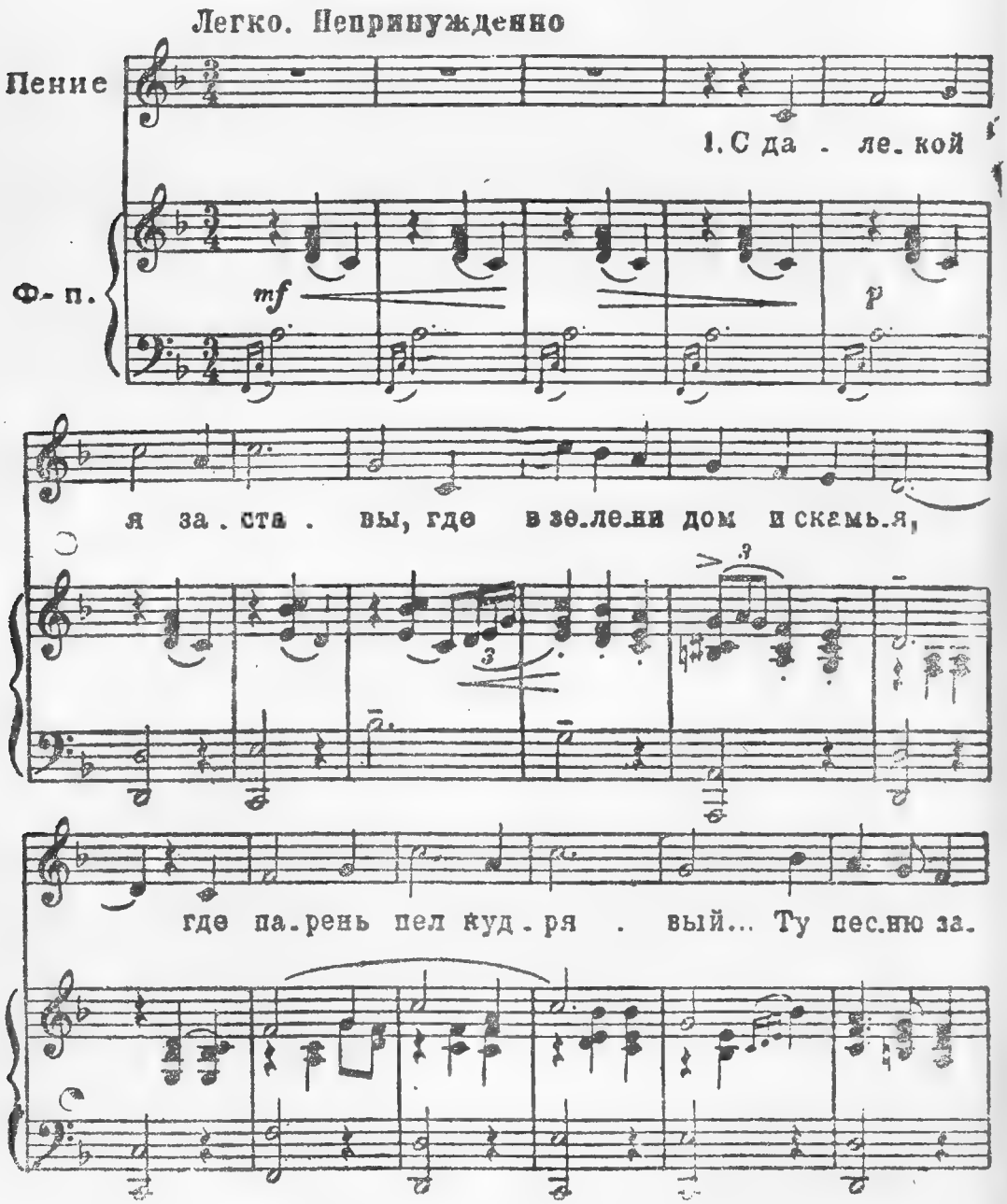
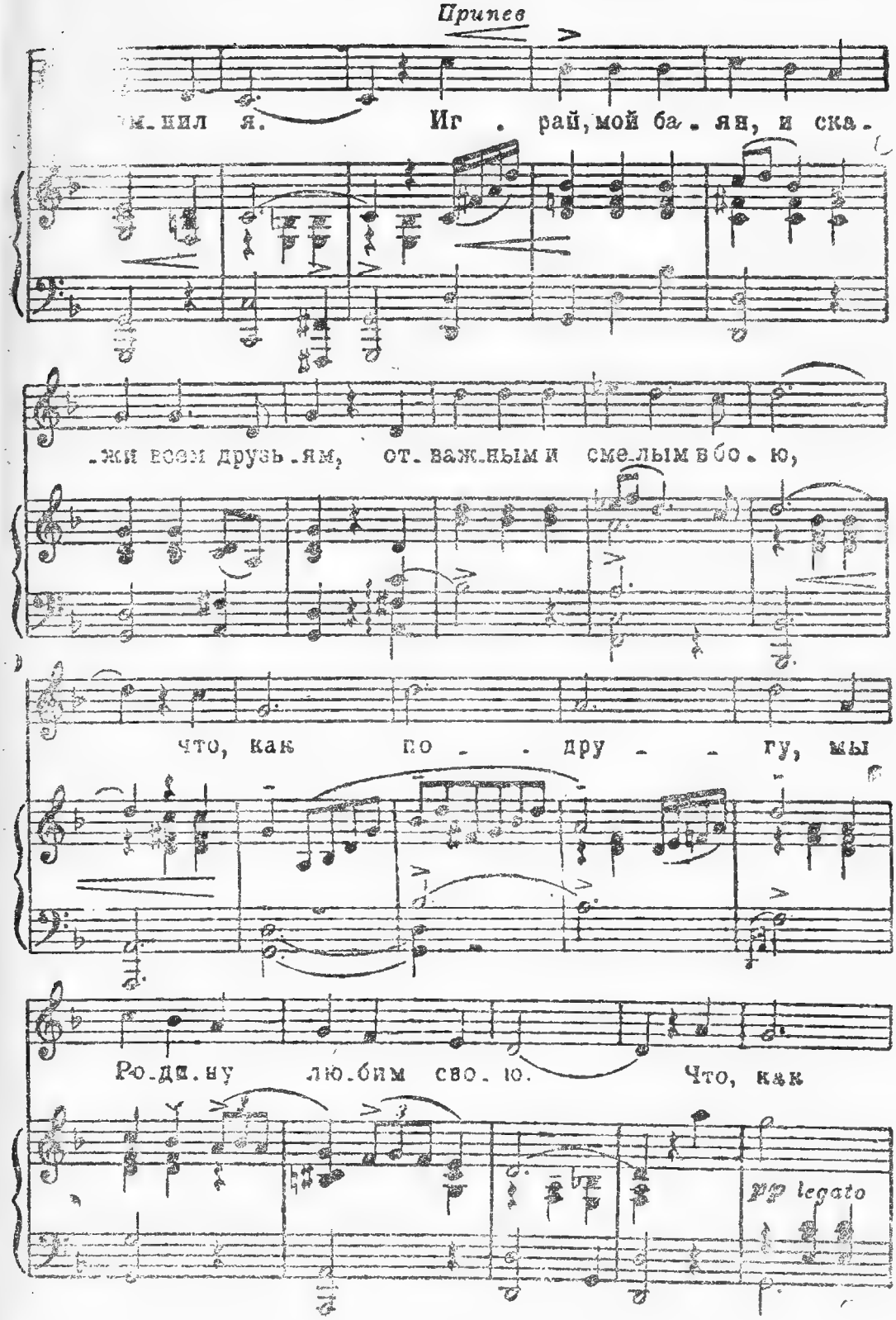
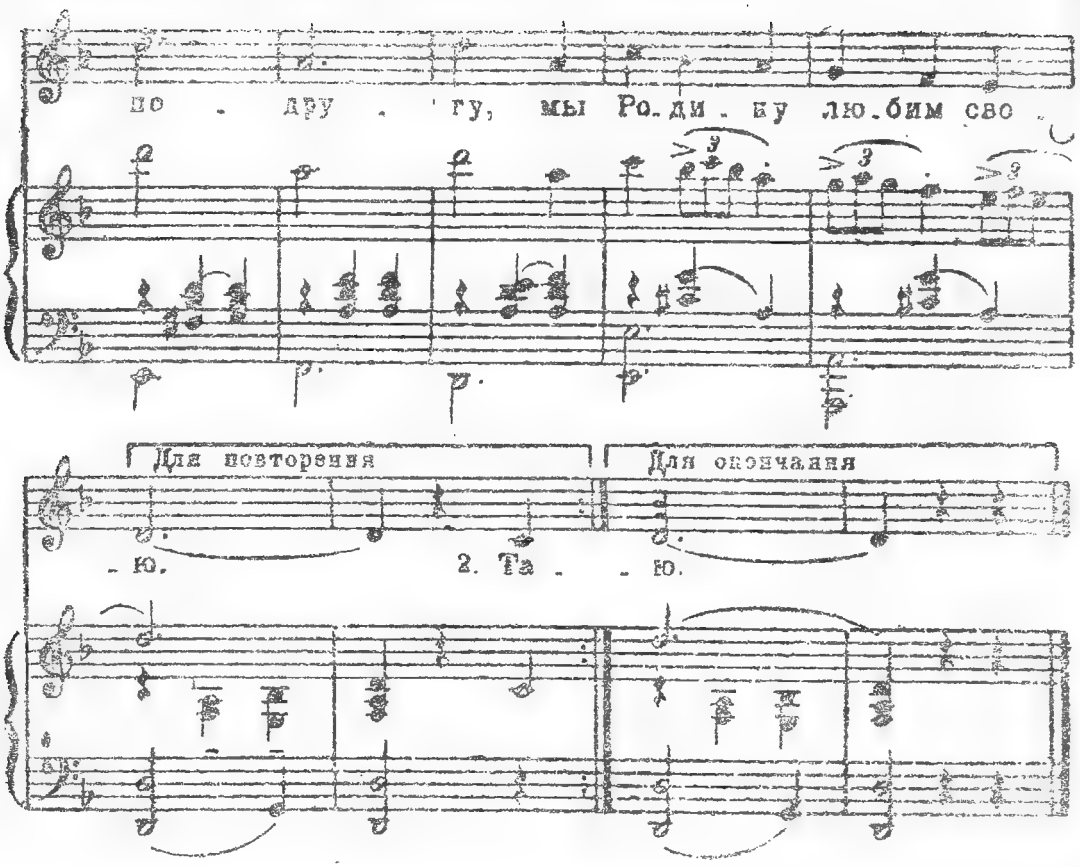
Напишите мне, как погиб мой сын, я вас очень прошу об этом. Если у него были при себе письма, перешлите мне, если это возможно. Я знаю, что в комсомольском билете он носил фотографию одной девушки. Если она сохранилась, передайте ее мне, и если есть, напишите ее адрес.

Желаю вам, ребята, бить проклятых нечистей и много удачи в боевых делах.

М. Азарова».

В этих словах вся скорбь матери и все величие русского сердца. Как Азарова отдала родине сына, все советские люди отдали родине самое дорогое: близких и себя, силы, чувства, кровь.

ИГРАЙ, МОЙ БАЯН

Слова *Л. Давидовича* Музыка *В. Седого*

Припев
м-нил я. Иг . рай, мой ба . ян, и ска-
-жи всем друзь-ям, от-важ-ным и сме-лым в бо . ю,
что, как по - - дру - - гу, мы
Ро-ди-ну лю-бим сво . ю. Что, как
pp legato

С далекой я заставы,
Где в зелени скамья,
Где парень пел кудрявый,—
Ту песнь запомнил я.

Играй, мой баян,
И скажи всем друзьям,
Отважным и смелым в бою,
Что, как подругу,
Мы родину любим свою. } 2 раза

Таких, как наши песни,
В других я местах не слыхал,
И девушек чудесней
Нигде я не встречал.

Играй, мой баян,
И скажи всем друзьям,
Отважным и смелым в бою,
Что, как подругу,
Мы родину любим свою. } 2 раза.

Но злая вражья стая
Над нами, как туча, взвилась,
Застава дорогая
За родину поднялась.

Играй, мой баян,
И скажи всем врагам,
Что жарко им будет в бою,
Что, как подругу,
Мы родину любим свою. } 2 раза

Леонид Соболев

ПАРИКМАХЕР ЛЕОНАРД

Это был волшебный мастер бритья и перманента, юный одесский Фигаро. Впервые я увидел его на одной из морских береговых батарей, куда он приезжал на трамвае (так в Одессе ездили на фронт).

В кустах возле орудия номер два поставили зеркало и столик, батарейцы сгрудились вокруг, нетерпеливо дожидаясь очереди и заранее гладя подбородки. Пощелкивая ножницами, как кастаньетами, он пел, мурлыкал, острил, гибкие его пальцы играли блестящими инструментами, и порой, когда обе руки были заняты пульверизатором, он швырял гребенку на верхнюю губу и зажимал ее носом. Бритва так и летала в его ловких пальцах, угрожая носу или уху быстрыми взмахами. Леонард сдергивал салфетку с видом фокусника:

— Гарантия на две недели, брюнетам на полторы! Кто следующий?

Сев на стул, я невольно залюбовался в зеркале его пальцами. Тонкие и гибкие, они нежно прощупывали пряди волос, безошибочно отбирая то, что нужно снять. Каждый палец его, бледный и изящный, жил, казалось, своей осмысленной, умной жизнью, подхватывая кольцо ножниц, зажимая гребенку или выбивая трель на машинке, в неустанном движении, в веселом следовании за песенкой, сопровождавшей работу.

Не удержавшись, я сказал:

— С такими пальцами и слухом вам бы на скрипке играть.

Он посмотрел на меня в зеркало и хитро подмигнул:

— Хорошая прическа — тоже небольшая соната. Скажете — нет?

Мы разговорились. Большие черные его глаза стали мечтательными. Он рассказывал о своем профессоре, который на-

зывает его «моложавым дарованием», о скрипке, о том, что, когда кончится война, он пойдет в техникум и бросит пермаиент, из-за которого его зовут Леонардом, хотя он просто Лев. Он говорил о музыке, о любимых своих вещах. Пальцы его, как бы вслушиваясь, перестали балаганить. Они держали теперь гребенку цепко и властно, как гриф скрипки.

Приведя в порядок всех желающих, он достал скрипку, которую неизменно привозил с собой на батарею, и краснофлотцы вновь обступили его. Видимо, это стало на батарее традицией

Южное осеннее солнце сияло на тугих молодых щеках, выбритых до блеска, просторное море манило к себе сквозь зелень кустов, и огромное тело орудия номер два, вытянув длинный хобот, молчаливо вслушивалось в музыку. Леонард играл, смотря перед собой через орудие и кусты на море, вторя невидимому оркестру и изредка напоминая о нем звучным, верным голосом. И казалось, он видит себя на большой эстраде, среди волнующегося леса смычков и воинственной меди труб.

Очередной румынский снаряд, рванувшийся за кустами, оборвал концерт: Леонард со вздохом опустил скрипку.

— Опять пьяный литаврист уронил палку. Им нужен строгий дирижер. Скажете — нет?

Вторично я встретился с Леонардом в госпитале. Он лежал, закрытый до подбородка одеялом, и черные, влажные его глаза были грустны. Я узнал его и поздоровался. Он кивнул мне и попытался пошутить. Шутка не вышла. В коридоре я спросил врача, что с ним.

Была тревога. Все из парикмахерской кинулись в убежище. Оно было под пятью этажами большого дома. Бомба упала на крышу, и дом, сложенный из одесского хрупкого известняка, рухнул. Убежище было завалено.

В нем была темнота и душный, набитый пылью воздух. Никого не убило, но люди кинулись искать выход. Закричали женщины, заплакали дети. И тогда раздался звучный голос Леонарда:

— Тихо, ша! В чем дело? Ну, маленькая тревога «у-бе» — «уже бомбили!..» Больше же ничего не будет! Тихо, я говорю! Я у отдушины, не мешайте мне держать связь с внешним миром!

В убежище притихли и успокоились. Леонард заговорил в отдушину, и все слышали, как он подозвал кого-то — видимо, из тех, кто кинулся к развалинам, — назвал адрес дома («Бывший адрес»,— сказал он), вызвал помощь и пожарных. Один у своей отдушины, не уступая никому этого командного пункта, он распоряжался, советовал, как лучше подобраться к нему.

Он спрашивал, как идут раскопки, и передавал это в темноту.

Люди лежали спокойно и ждали. Хотелось пить — Леонард сказал, что уже ведут к отдушине шланг. Стало душно — он обещал воздух, ибо со своего места уже слышал удары лопат. Он передавал в темноту время, узнавая его через отдушину, и всем казалось, что часы текут страшно медленно.

По его информации прошло около шести часов. На самом деле раскопки заняли больше суток, и помощь пришла совсем не со стороны отдушины, в которую он говорил. Отдушины не было, как не было долгие часы ни пожарных, которые раскидывали камни где-то высоко на груде развалин, ни лопат. Все это выдумал веселый парикмахер Леонард, чтобы остановить панику, успокоить гибнущих людей и вселить в них надежду.

Когда добрались до него, он лежал в глухом углу, и руки его были прижаты тяжелым камнем. Пальцы его были разможжены, и руки пришлось отнять до запястья.

Первую неделю после операции он просил выключать радио, когда начиналась музыка. Потом он стал слушать ее спокойно, только закрывая глаза.

А. Твардовский

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

ГАРМОНЬ

(Отрывок из поэмы)

По дороге прифронтовой
Запоясан, как в строю,
Шел боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.

Шел легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же
Щелкал по лесу мороз.
Защемлял в пути все туже,
Подгонял, подмышки нес.

Вдруг — сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофер.
Тормозит: — Садись, пехота,
Щеки снегом бы натер.

— Далеко ль?
— На фронт обратно.
Руку вылечил.
— Понятно.
Не герой?
— Покамест нет...
— Доставай тогда кисет.
Курят, едут. Гроб дорога.
Меж сугробами — туннель.
Чуть ли что — свернешь немного,
Как свернул — снимай шинель.
— Хорошо — как есть лопата.
— Хорошо, а то беда...
— Хорошо — свои ребята.
— Хорошо. Да как когда...
Грузовик гремит трехтонный.
Вдруг колонна впереди.
Будь бы пеший или конный,
А с машиной — стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой,
Разговор — не разговор.
Наклонился над баранкой.
Смолк шофер. Заснул шофер.

Сколько суток полусонных,
Сколько верст в пурге слепой
На дорогах занесенных
Он оставил за собой!..

От глухой лесной опушки
До невидимой реки
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики.
Легковые — криво, косо.
В ряд — не в ряд, вперед — назад.
Гусеницы и колеса
На снегу еще визжат.

На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа.

Дует в душу, входит в грудь, —
Не дотронься как-нибудь.

— Вот беда: во всей колонне
Завалящей нет гармони.
А мороз — ни стать ни сесть...

Снял перчатки, трет ладони,
Слышит вдруг:
— Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,
Вперемёнку — пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.

— У кого гармонь, ребята?
— Да она-то здесь, браток...
Оглянулся виновато
На водителя стрелок.

— Так сыграть бы на дорожку?
— Да сыграть — оно б не вред.
— В чем же дело? Чья гармошка?
— Чья была, того, брат, нет.

И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
— Командир наш был любитель...
Схоронили мы его.

— Так... С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг.
Словно он кого ошибкой,
Нехотя обидел вдруг.

Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь.
А стрелок:
— Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем...
Трое — были мы друзья.

— Да нельзя, так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну...

И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же посудите —
Может, завтра — с места в бой.

— Знаешь что, — сказал водитель,
Ну, сыграй ты, шут с тобой.
Только взял боец трехрядку,
Сразу видно — гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.

Что-то медленно по слуху
Подбирал, как будто лень,
На гармонь склонившись ухом,
Шапку сдвинув набекрень.

И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.

От машин заиндевелых
Шел народ, как на огонь,
И кому какое дело —
Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомек.

Что-то чудится ребятам.
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли...

И сменивши пальцы быстро,
Он как будто на заказ
Здесь повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовет куда-то,
Далеко легко ведет.
Ах, какой вы, все ребята,
Молодой еще народ!

Я не то еще сказал бы, —
Про себя поберегу,
Я не так еще сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу.
И — давайте — я на шутку
Это все переведу.

Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.
— Стойте, братцы.
Дайте на руки подуть.
— Отморозил парень пальцы,
Надо помощь скорую.
— Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом.
И как будто ту трехрядку
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто.
Да не время вспоминать.
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.

И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены притти, до дому, —
Где жена и где тот дом?

Плясуны — на пару пара —
С места кинулися вдруг,
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы,
— На носки не наступать...
И бежит шофер тот самый,
Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,
Где пришелся ко двору? —
Крикнул так, что расступились:
— Дайте мне, а то помру!..

И пошел, пошел работать,
Наступая и грозя.
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечерке
Половицы гнет в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.

Подает за штукой штуку:
— Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощеный круг.

Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук,
Припечатать — так, чтоб сразу
Каблуку тому — каюк!

А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
Нет, какой вы, все ребята,
Удивительный народ!

Хоть бы что ребятам этим.
С места — в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете —
Хоть бы что, — гудит гармонь.

Выговаривает чисто,
До души доносит звук,
И сказали два танкиста
Гармонисту:

— Знаешь, друг...
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат?

Вся в крови была одежда,
И просил ты пить да пить...
Приглушил гармонь:
— Ну, что же,
Очень даже может быть.

Как там ни было, — на фронте
Случай может быть любой.
— Это точно. А гармонь-то,
Знаешь что — бери с собой.

Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Веселя свою пехоту...
— Что вы, хлопцы, как же так?

— Ничего, — сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это — память про него...

И с опушки отдаленной
Из-за тысячи колес,
Из конца в конец колонны
«По машинам!» — донеслось.

И опять — увалы, взгорки,
Снег да елки с двух сторон.
Едет дальше Вася Теркин, —
Это был, конечно, он...

К. Мурзиди

УРАЛ

Огнями плавок полдень затмевая,
В своем величье строгом и простом
Урал сегодня — крепость боевая
За неприступным каменным хребтом.

В сокровищницу горного Урала
Богатая и щедрая земля
Все лучшие жемчужины собрала,
Наполнила металлом тигеля.

И в этот мир пришел упрямый мастер,
Решительно вступил в свои права
И, энергичен, мужествен и властен,
Поднялся на вершину мастерства.

Он знает все — от грани на кристалле
До угловатой грани на броне,
От звонкой меди до отличной стали,
Испытанной в сраженьях на войне.

Он среди нас то в шляпе горнового,
То в каске и горняцких сапогах.
Он стал героем фронта трудового,
И, постоянно помня о врагах,

Всю ненависть души своей мотучей
Вложил он в труд, и ярче с каждым днем
Пылает пламя ненависти жгучей —
Оружье закаляется на нем.

На зов бойца он сердцем отзовется;
Уралец — мастер в самый трудный час,
Откликнулся на слово полководца
И принял это слово как приказ.

Позолоченный горными лучами,
Лесами опоясанный, Урал
Мою страну могучими плечами,
Как богатырь, издревле подпирал.

Над ним шумят воинственные флаги;
С фронтами он в содружестве литом:
Седой Урал, вооруженный лагерь,
Стал индустрии становым хребтом.

М. Щелоков

БОЙЦУ У МАРТЕНА

Танкист ведет машину в бой
Сквозь ураган огня.
Смотри, прокатчик молодой,
Крепка твоя броня!

Советский сокол сделал круг
И немцев разметал.
Смотри, товарищ металлург,
Воюет твой металл!

Врага бросает в дрожь и жар
Орудий наших гул.
Смотри и помни, сталевар:
Вчера ты плавку стали дал,
Сегодня смертоносный вал
Ударил по врагу.

Товарищ мой, на вахту встань,
Чтоб шла потоком сталь.
Бойцу помощник ты и друг,
Товарищ металлург!

Твой труд лавиною стальной
Врага развеет в прах.
И, как бойца,
В мороз и в зной
Тебя боится враг.

Леонид Ленч

КАША

(Рассказ)

— Фамилия моя Кушакова, а звать — Екатерина Николаевна.

Но на производстве меня все Катей зовут. Катя да Катя! А то и Катюшей девчата покличут. Или Катенькой...

Конечно, если разобраться — какая я им Катюша?! Бабе за пятьдесят. Внуков могла бы своих качать! Да так уж, видно, пришлось! Прокатилась жизнь бобыльим колесом... Ну, и осталась я...: Катей...

Мы на заводе кашу делаем. Пшенную, гречневую, овсяную. Называется — концентрат. Для нужд фронта.

Для бойцов она очень удобная — наша каша: варить не надо. Разведи ее кипяточком или горячим молоком — и действуй, милый, на здоровье!..

В заверточном цехе девчата у нас молодые работают, веселые.

Вот они и затеяли в каждый пакетик с нашей кашей вкладывать записочки для бойцов.

Разное писали.

Соня Круглякова у нас есть. Бойкая девчонка, оторви да брось!.. Она так написала:

«Дорогой боец! Сообщите на завод Соне Кругляковой, сколько фашистов вы уничтожили, поев нашей каши. Мне — 18 лет, глаза у меня, между прочим, карие».

Мы ей говорим:

— Сонька, про глаза-то зачем?

— А как же,— говорит,— фронт все должен знать. Фронту все интересно!..

Аня Дегтярева очень хороший стишок сочинила и тоже на фронт послала. Как это?.. Вот!..

Кто сварит нашу кашу к обеду
И девчатам спасибо пошлет?!
Мол, одержим над гадом победу
И тогда непременно заеду
На далекий консервный завод.
Чтобы после военной разлуки
Встретить снова тепло этих глаз
И пожать эти женские руки,
Что так славно трудились для нас!..

Ко мне девчата тоже пристали: напиши да напиши!..

Я не захотела от молодых отстать и написала из песни своей, из любимой:

Мой товарищ, тебя я не знаю,
Но любовь в моем сердце — жива!

«Сообщите, если будет времечко, понравилась ли вам наша каша».

И подписалась: Катя Кушакова.

Вот однажды пришла я домой после работы, постиралась, конечно, сижу — пью чай.

Вдруг слышу — в дверь стучат.

—Войдите,— говорю.

Входит военный товарищ. Моряк. Черная шинель, пуговки золотые. Младший командир!

— Здрасьте! Мне... Катю Кушакову.

— А зачем она вам?

— Так нужно...

Вижу — мнется он, вроде стесняется. А мне и самой как-то неловко вдруг стало.

— Да вы присядьте, — говорю.

Сел он на стул, снял шапку. Молоденький сам, красивенький такой и, видать, прямо пришел из парикмахерской — одеколоном на всю комнату пахнет.

— Я, — говорит, — в вашем городе — случайный гость. Я здесь лежал раненый в лазарете, а сейчас возвращаюсь обратно на фронт, и мне очень нужна... Катя Кушакова. Ее что — дома нет?..

Меня что-то в сердце кольнуло: не признавайся...

— Нету дома,— говорю,— но вы можете мне все сказать, я ей передам!..

— Передайте ей, — говорит мой гость и заливается краской до самой шеи, — что мне ее каша очень понравилась. И еще скажите, что песню эту я тоже очень люблю... «Мой товарищ, тебя я не знаю, но любовь в моем сердце жива»...

Я стою ни жива ни мертва. Вижу: у человека — мечта... И нельзя эту мечту трогать.

А он — ко мне.

— Вы ее хорошо знаете — Катю Кушакову?

— Да, немножко знаю,— говорю.

— Какая она из себя?

— Да такая,—говорю...— этакая... в общем женского пола!..

— Блондинка?..

Глянула я тут случайно в зеркальце на волосы свои седые, отвечаю:

— Светленькая.

— Красивая?..

Вот пристал!

— Красивая, — говорю, — и умная. И молодая.

— Я завтра уезжаю. Может, мне удастся ее сегодня повидать?..

— Нет, — говорю, — не удастся. Она сама вчера только на фронт уехала. Военной сестрой. Кончила курсы — и подалась!..

Встал он, потемнел лицом.

— Что же, говорит, значит — не судьба! Ну, может быть, мы на фронте встретимся. Бывают, говорит, такие счастливые совпадения в жизни. Почему-то, говорит, ее записочка в этой каше на меня очень сильное произвела впечатление. «Мой товарищ, тебя я не знаю, но любовь в моем сердце жива!» Буду, говорит, искать Катю Кушакову. Может, после войны найду. До свиданья, бабушка!..

Закапали у меня вдруг слезы из глаз.

Говорю:

— Дай мне тебя, внучек, поцеловать. Будь здоров!.. Дружкам своим поклонись от меня.

Поцеловала его и даже перекрестила, хоть и неверующая я давно.

Пошла его провожать и в калитке еще сказала:

— А насчет каши нашей — не беспокойтесь. Каши дадим вам на фронт вдоволь и хорошей. Только скорее врага вон гоните!..

— Все, говорит, будет в порядке, бабушка. И врага прогоним, и Катю Кушакову разыщем!..

И разыщет! Такой всего добьется. Одна у меня надежда теперь, что эту его Катю не Катей будут звать!..

Вл. Дыховичный

ШЕЛ АРТИСТ НА ФРОНТ

...И я с фронтов на память о походах
Набрал немало памятных вещиц,
Свидетелей различных эпизодов,
Смешных и грозных боевых страниц.

Коробка с сигаретами, патроны,
Газетный полустершийся листок,
Монеты, офицерские погоны
И книжка записная, и платок.

Так собралась коллекция предметов.
Вот, например, сюжет на десять строк, —
Железный знак. Немецкий смертник это,
Солдатский инвентарный номерок.

Он снят с груди германского пилота.
А дело было так: под рождество
Наш летчик возвращался из полета,
И кончились патроны у него.

Почуяв это, враг на «Мессершмитте»
К нему, — отпору, видно, не бывать,
Гашетки жмет. Труба пилоту Мите,
Хоть лезь из кожи, нечем воевать!

И вдруг... Придумал! (Наша сметка это.)
Сигнальную ракетницу берет
И во врага — ракету за ракетой,
Зеленую за красной, шлет и шлет.

И немец растерялся: — Доннер веттер,
Придуман новый русскими снаряд!
И, отвернувшись в темноте на ветер,
Бросается он в панике назад.

И в сопку он врезается в тумане,
Налетчику-германцу вышел срок.
Нашли у немца мертвого в кармане
Вот этот инвентарный номерок.

И мне сказал пилот, хитер и весел:
— Вот этот номер больше не пройдет,
Все номерки немецкие развесим
Мы в смертный табель с надписью «уход».

**
*

Свидетель второй боевых эпизодов,
Что с номером рядом в кармане лежит.
Он связан с одним из суровых походов,
Хотя он совсем не военный на вид:

Смешная, знакомая каждому, соска,
В детстве универсальный предмет,
Она заменяла нам папиросу,
Культурный отдых, подчас обед.

Вы улыбнулись? Смешная игрушка?
На этот раз мой рассказ не смешон:
Сожженная финнами деревушка,
В нее входил эскадрон.

Скручены крыши, обуглены срубы,
Снег почернел кругом,
Грустно смотрели голые трубы
На единственный целый дом.

Бойцы осторожны, — белофинны
(Они ушли на заре)
Умели делать хорошие мины,
При очень плохой игре.

Бойцы осмотрели сперва дорогу,
Лестницу, дверь, сенцы,
За комнатой комнату, понемногу
Весь дом обошли бойцы.

Все тихо, но в самой последней комнате
Бойцы и военный врач
Вдруг слышат (вы все хорошо его помните)
Заливистый детский плач.

Бойцы не могут сдержать улыбки,
И пальцы слабей на клинке, —
Забытый мальчишка рыдает в зыбке
С резиновой соской в руке.

И врач прекращает осмотр дома, —
У наших людей в крови,
Что чувство опасности нам знакомо
Меньше, чем чувство любви.

Врач второпях подходит к ребенку,
На руки плаксу берет,
И в ту же секунду взрыва воронка
Черным столбом встает.

Мы видели подлость. Тянулся в пустыне
Их черный, обугленный след,
Но плачущий мальчик, привязанный к мине...
Страшнее этого нет.

Нет, здесь неуместны ни слезы, ни жалость,
Здесь шашкой рубить с плеча.
Вот все, что осталось...
Вот все, что осталось
От мальчика и врача.

Их вместе зарыли. В строю эскадронов
Когда-нибудь песню споют
О том, что не смели мы тратить патронов
На братский прощальный салют.

Воздвигнут им памятник. Долгие годы
Наш северный грозный гранит
И звонкая бронза уральских заводов
Нам память о них сохранит.

Вокруг будет сквер, чтобы дети шумели,
Чтоб дети прочли на доске
Про доброго дядю в чугунной шинели,
Про мальчика с соской в руке.

Покамест вот это ребячье наследство,
Как памятник, я берегу,
Как славу борцам за счастливое детство,
Как счет неоплатный врагу.

**
*

А сей предмет, хоть это слышать странно, —
Живой свидетель танковых атак,
На первый взгляд простой платок карманный,
На самом деле это — белый флаг.

Танкистом нашим дан мне символ сдачи.
С чужого танка снятый белый флаг.
О хитрости военной, об удаче
Он говорит. А дело было так:

В тылу врага танк выполнял заданье.
Пора домой, а он как в землю врос:
В моторе отказало зажиганье,
И в жилах кровь ему сковал мороз.

Танкистам жарко, несмотря на стужу,
Как завести заглушенный мотор?
Кругом враги. Не вылезешь наружу.
Не вырваться танкистам на простор.

Зато врагов другой вопрос тревожит:
У танка безотказен пулемет,
Заглох мотор — пусть танк уйти не может,
Но и к нему никто не подойдет.

Он насмерть будет биться с окруженьем,
И танк врагов, поднявши над собой
Вот этот флаг, подъехал с предложеньем:
— Сдаваться. Жить. Немедля кончив бой.

А наши предложили наудачу —
Танк на буксире к штабу подвезти,
И в штабе этом состоится сдача,
В чем клятву мы готовы принести.

Танк неприятеля согласен стать буксиром,
Он нас на цепь буксирную берет,
С водителем, стрелком и командиром,
Рванувши с места, двигает вперед...

Вдруг цепи натянулись с содроганьем,
Естественно, что, двинувшись вперед,
Наш танк вновь обретает зажиганье,
Танкист дает сейчас же задний ход.

А цепь прочна противнику на горе,
Наш танк не зря буксира запросил:
В буксирном танке сотня сил в моторе,
А в нашем... Словом, в нашем больше сил.

Пугает встречных вид невероятный:
Уж раз связался с нами, так терпи,
Советский танк несется в путь обратный,
Таща «коллегу» сзади на цепи.

С лиц офицеров пот холодный льется, —
Им слышно пенье русского бойца,
Романс «Нет, эта цепь не разорвется,
Мы спаяны, как два стальных кольца».

Они летят по рытвинам, ухабам,
Ни цепь порвать, ни выпрыгнуть нет сил.
Затормозив перед советским штабом,
Водитель в штаб зайти их пригласил.

— Как мы имели честь договориться:
Танк на буксире к штабу танк привез,
И в штабе этом сдача состоится,
А чья, не уточняли мы вопрос.

И флаг врага, когда был подан ужин,
Мне дал танкист, придвинув котелок,
Он так сказал: нам белый флаг не нужен,
Дадим его артисту, как платок.

Вложив в карман пиджачный на концерте,
Пусть он помянет добрым словом нас.
Далекие товарищи, поверьте,
Что твердо выполняю я наказ.

Со мной мои трофеи неуклонно.
Коллекция моя! Она растет.
Я этого не кончу фельетона,
Пока не кончен трудный наш поход.

Нести слова поэмы и экспромта
Мы будем за далекий горизонт,
И не уйдет артист советский с фронта,
Пока победой мы не кончим фронт.

Я буду там до той последней даты,
Покамест взять мне не наступит срок
С последнего убитого солдата
Германский этот смертный номерок.

ПОРОСЯТА

Поутру пришел в отряд
Дед лесной тропою,
Пару жирных поросят
Притащил с собою:

— Пусть побегают пока
В нашем вольном стане...
И пустил у большака
На лесной поляне.

Кто-то стал над ним шутить:
Дескать, что ты, старый?
Немца, что ли, угостить
Хочешь этой парой?

— А хотя бы и его,—
Дед ответил смело. —
Поросята — ничего,
Не испортят дела.

Пусть приходит хоть сейчас,
И — уж будь надежен! —
И накормим в самый раз,
И в постель уложим...

Посмеялись и в кустах
Скрылись партизаны,
Только старый — ни на шаг
От своей поляны.

Сел на пень, достал кисет,
Смотрит на дорогу:
— Едут гости или нет
К нашему порогу?

Курит, шутит сам с собой,
Греясь на припеке...
Над поляною лесной
День стоит высокий.

Ходит ветер, чуть дыша,
По траве несмятой,
И копают не спеша
Землю поросята.

Час и два сидит старик,
Ожидая срока...
Вдруг зафыркал грузовик
Где-то недалеко.

Мигом в чащу юркнул дед,
Командиру шепчет:
— Немцы едут на обед,—
Угощай покрепче!..

Видят немцы: что за чорт?
Посредине бора
Поросята — первый сорт —
Ходят без надзора!

Ходят в мирной простоте,
Тихо землю роют.
А у немцев в животе
Словно волки воют.

Кто ж из немцев в этот миг,
Кто б не поживился?
Тут уж даже грузовик
Сам остановился.

Грузовик у них такой —
Вымуштрован тонко:
Тормозится сам собой,
Встретив поросенка.

Лихо с места сорвалась
Бравая пехота —
На поляне началась
Жаркая охота.

Обложили поросят
Сзади, слева, справа;
Ловят, бегают, галдят
Всей своей оравой.

Взяли, бедных, в переплет,—
Никакой пощады!..
Тут и ахнул пулемет
В немцев из засады.

Те пока в себя пришли
Да назад махнули,
А уж пятеро легли,
Ноги протянули.

Впрочем, скоро всем нашлось
Место с ними рядом:
Здесь не тратит на-авось
Партизан зарядов!

Все свалились, как один,
Безо всякой фальши,
Ни один собачий сын
Не уехал дальше.

Поглядел кругом старик:
Чистая работа!
— Разыграли,— говорит,—
Немца, как по нотам.

Ловко встретили его,
Крепко дали сдачи!
Поросенок — он... того...
Очень много значит.

С. Маршак

ДЖАЗ-БАНДА

„В оккупированной Голландии немецкие власти запретили исполнение русской, польской, английской, американской музыки".

Из газет

Грозный немец-генерал
В Амстердаме приказал:

Запретить под страхом смерти
Петь Чайковского в концерте.

Конфискуются пластинки
Даргомыжского и Глинки.

Исполнение Шопена —
Величайшая измена.

Дирижерам Амстердама
Предлагается программа:

Гитлер. Марш «Моя борьба»
(Кастаньеты и труба).

Антонеску. «Баркаролла»
(Барабан румынский соло).

«Тарантелла» Муссолини
На немецкой мандолине.

Гиммлер. «Вечером над Шпре» —
Новый вальс на топоре.

Две рапсодии фон Листа —
Генерала и фашиста.

Пляска смерти «Финский сейм» —
Исполняет Маннергейм.

Доктор Геббельс. «Клевета».
Квислинг. «Ария шута».

Геринг. Опера «Паяцы»
Или «Новые эрзацы».

Михаил Козаков

СОЛОВЕЙ ПОЕТ

Пьеса в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Малинова — учительница городской школы
Лиза — ее воспитанница
Капустин — чистильщик сапог
Неизвестный

Весна. Небольшой русский город, оккупированный гитлеровцами. Аллея городского сквера у выхода на площадь, на которой находится двухэтажный дом немецкой комендатуры. (Со сцены, сквозь зелень деревьев, виден второй этаж дома.) Сейчас мягкий и светлый предвечерний час, в природе — умиротворенность. Со стороны площади доносится звук скрипки: кто-то играет хорошо и проникновенно.

На садовой скамье — Лиза, семнадцати-восемнадцатилетняя девушка. Напротив нее, наискосок — Капустин, пожилой человек. Он сидит на низком складном стуле, нетерпеливо покуривает, время от времени оглядываясь по сторонам.

Лиза. И так каждый день. Скоро уже два месяца так. С тех пор, как подожгли тюрьму.

Капустин. Когда-нибудь видала его — парнишку?

Лиза. А кто же у нас не знает Саню Малинова? Мальчика весь город знает. Его в Москву собирались отправить на ученье. К знаменитым скрипачам. Да вот видите — судьба!.. *(После короткой паузы.)* Товарищ Капустин!

Капустин. Что?... *(С усмешкой.)* Одно слово лишнее. Забудь!

Лиза. Капустин...

Капустин. То-то же!.. *(С той же усмешкой.)* «Капуцин» — немец в участке называет. Ему так легче. Ты что хотела, девушка?

Лиза. Страшно мне и за нее и за Саню...

Капустин. А за остальных девятнадцать не страшно?

Лиза. Очень. Но когда боишься за многих, тут страх уже как будто и не действует, другое вот... другое перебивает его. А когда страшно за одного кого-нибудь, тут у меня и есть настоящий страх. Ребенок еще, десять лет ему... *(После паузы.)* А у наших все готово?

Капустин *(уклончиво)*. Когда надо будет, скажут. *(Прислушиваясь к музыке.)* Соловей среди зверей.

Лиза. Мученье какое для матери! Чуть что — и...

Капустин. Вчера коменданту Цюрлиху сапоги начищал. Сволочь розовая! «Музык слюшаешь? — спрашивает. — Слюшай, старик. Большой музыкант в маленький тело. Я велел ему

играть, я ошень люблю музык, она мне напоминайт...» *(Презрительно.)* Слыхала?

Лиза. Садист проклятый!..

Капустин. «Ошень жаль, если придется повесить». Цы-цы-цы,— причмокивает... *(Другим тоном.)* К площади пойду: мне нельзя без дела. *(О себе иронически.)* Чистильщик! *(Скрипка умолкла.)* Малинова. Сюда идет. Ну, до скорого. *(Собирается уходить, забирает с собой стул и ящичек.)*

Лиза. Капустин... Вы мне ничего не ответили. У наших все готово?

Капустин что-то хочет ответить, но уходит молчаливо.

Лиза *(одна)*. Нехорошо так думать... Тяжело так, стыдно, но, может быть, выждать бы... пожалеть?

На аллее появляется Малинова.

Малинова. Я знаю: ты тоже слушала моего мальчика. Он говорит на том языке, на котором может слушать его весь мир. Музыка — это язык человечества.

Лиза. Но они — не люди, они — злодейское подобие людей! Музыка... Анна Степановна... я так хорошо помню ваши беседы об этом в школе... О литературе, музыке, театре. *(Горестно.)* А теперь что?!

Пауза.

Малинова. Я знаю: мне не верили наши. Это понятно.

Лиза *(смущенно)*. Нет, что вы, Анна Степановна!..

Малинова. Люди остерегались... Я подходила — и все умолкали.

Лиза. Жалели.

Малинова. И остерегались, Лиза! Не все, конечно. Те, которые могли что-нибудь знать о партизанах... Комендант Цюрлих сказал мне: «Вы мать. Охраняйте сами жизнь вашего ребенка. Он — заложник. Мы берем его на два месяца. Если русские что-нибудь сделают в городе, мы повесим всех двадцать заложников».

Лиза. Он хотел вас сделать доносчицей.

Малинова. Он не требовал этого открыто, но он этого ждал... рассчитывал. Не знаю, можно ли больше их ненавидеть, чем я! Он превратил меня в заложницу... в заложницу, Лиза, у самой себя.

Лиза. Превратил?

Малинова. Хотел превратить,— пойми меня правильно, Лиза. *(Чуть оживившись.)* Через три дня кончится это чудовищное истязание, я увижу своего мальчика... Сегодня воскресенье, а в четверг утром истекает срок: два месяца.

Лиза. В четверг?

Малинова. Да, в четверг. *(Настороженно.)* Почему ты переспросила? Почему? Ты что-то знаешь?

Лиза *(подавив свое волнение)*. Нет, Анна Степановна, ничего не знаю!

Малинова. Ты говоришь неправду. Мне так кажется. Скажи. Умоляю!

Лиза. Боже, как вы изнервничались, настрадались.

Малинова. У меня нет жизни, у меня — мысли. Только мысли! Ты понимаешь? Посмотри на меня. У меня боль стала мыслью. Вся моя боль!

Лиза. Вы прикованы к этому месту,— я вижу.

Малинова. Здесь мой Саня. Здесь все они, заложники. В подвале комендатуры. Но, когда Цюрлих хочет музыки, он требует Саню к себе наверх. И я караулю эти моменты. *(С неожиданной улыбкой.)* Саня — хитрый.

Лиза. Хитрый?

Малинова. Мальчик мой дорогой. Он каждый раз старается играть наши с ним любимые вещи, он чередует их... с особым смыслом, Лиза, только мне и понятно это. Мы живем с ним оба воспоминаниями и мечтаем, чтобы они стали нашим будущим.

Лиза. Да, чтобы прошлое стало будущим. Сейчас, мне кажется, вы немного как будто успокоились, а раньше...

Малинова *(с горькой усмешкой)*. Успокоилась...

Лиза. Нет, нет... конечно, я понимаю: разве можно успокоиться? Но вы метались по всему городу, вы подбегали к каждому, заглядывали в глаза, молчаливо как-то так спрашивали... глазами спрашивали.

Малинова. Да, прислушивалась. Прислушивалась, Лиза, к каждому шороху людской молвы...

Лиза. Не таится ли опасность в нем для Сани, да?

Малинова. Меня осуждают люди за это?

Лиза. Нет, все понимали.

Малинова. И все делали вид, что никакой опасности нет, что никто, нигде ничего не затевает. Мне не доверяли.

Лиза. Зачем вы так? Вас все в городе любят... *(Волнуясь.)* Вы еще не знаете как! И вас, и Саню.

Малинова *(серьезно)*. Ты говоришь правду?

Лиза. Только правду, Анна Степановна! Ведь вы самая любимая, уважаемая учительница в городе... Может быть, потому... *(Замялась.)*

Малинова. Что потому?

Лиза. Может быть, потому они... они взяли вашего сына. Как бы это сказать.. Воздействие на советское население!

Малинова *(тихо, ласково)*. Ты думаешь, девочка моя? У тебя слезы в глазах. Не надо. Нужно копить в душе не слезы, а мщение. И столько, столько его накопить, чтобы месть могла быть щедрой. Чтобы она была втрое сильней их преступлений. *(Указывает рукой на здание немецкой комендатуры.)*

Лиза. Да! *(Короткая пауза.)* Ковыляет сюда чистильщик сапог и еще кто-то.

Малинова. Кто этот старик — чистильщик? Это новый, незнакомый человек в нашем городке,— я всех тут знаю.

Лиза. Не знаю. Вероятно, из беженцев. А что?

Малинова. На-днях я тут сидела, как всегда. Молчала. И он сидел молча. Саня играл... *(Неожиданно, тревожно.)* Почему его не слышно? Должны быть еще «Прелюд» и «Баркаролла». Всегда так в последние дни. Что случилось?

Лиза. Вы хотели о чистильщике. Ну, и что же?

Малинова *(думая о своем)*. Когда что-нибудь малейшее не так, как в предыдущий день, я теряю покой. *(С горечью.)* Покой... Как будто у меня есть покой?! Это что-то другое, Лиза. Я привыкаю, вероятно, к размерам, к степени своего горя, и я боюсь, смертельно боюсь...

Лиза. Чего?

Малинова. Малейшего отклонения от своего... вот от этого... этого привычного состояния. Иногда я ловлю себя на такой странной мысли — пусть будет так, как есть. Мой покойный отец когда-то, при царе, отбывал каторгу в Сибири. Ночью они все там спали в палатках, среди болот. К отцу под солдатское одеяло заползал, бывало, большой уж. Сворачивался калачиком и отогревался у него на груди. Представляешь себе? Ужей там было уйма и змей, но отец так привык к этому, что ему всегда казалось, что один и тот же ночной знакомый уж заползает к нему на грудь, и отец потому уже не беспокоился. Хотя могла быть и змея... Так и со мной, Лиза. *(Короткая пауза.)* Говорят, что партизаны в двадцати километрах уничтожили немецкие склады амуниции. Это правда, Лиза?

Лиза. Откуда я могу знать, Анна Степановна?

Малинова *(глядя ей в лицо)*. На твоем месте я бы все знала.

Лиза. Каким образом?

Малинова. Я была бы с ними! Здесь или там — все равно.

Пауза.

Лиза. Вы хотели что-то об этом старике, чистильщике...

Малинова. Ах, да!.. Он молчал, а потом...

Снова звук скрипки.

Мальчик ты мой! Слышишь! Я должна быть поближе к нему. *(Быстро уходит.)*

Лиза *(одна)*. В четверг... Наши готовились к четвергу или пятнице,— разве Капустин скажет тебе точно! «Твое дело держать связь, девушка»,— одно только и твердит. *(Прислушиваясь к музыке.)* Как плачет его скрипка...

Появляется Капустин.

Капустин *(ухмыляясь)*. Довольна будешь, девушка.

Лиза. Что, что такое, Капустин?

Капустин. Не страшись теперь. Не переживай. Посоветуй только потом упрятать мальчугана куда-нибудь подальше отсюда. Понятно?

Лиза. Непонятно.

Капустин *(ворчливостью маскируя свои чувства)*. Непонятно, непонятно... Я и сам рад. Или думаешь — только ты? Сейчас сапоги начищал, которые двадцать километров по пыли к городу прошли. Теперь понятно?

Лиза. А-а!..

Капустин. Пойдешь туда, куда всегда ходишь. И передашь: твое это дело, держи связь. Знай свое. «Сапоги» говорят, давайте знак, когда приходить нам лучше. Истреблять комендатуру. Поди, доложи кому след. И возвращайся сюда. Меня тут не будет: свои дела есть. Придут сюда «сапоги» эти. Понятно? Я сказал «сапогам»: лучше в пятницу.

Лиза *(обрадованно)*. Да, да, Капустин, лучше в пятницу! На базар партизаны придут? Понятно. Базар и в среду бывает. Но лучше, Капустин, в пятницу... Лучше, лучше!

Капустин. Иди, докладывай. У нас тут, в городе, готово все и на среду, конечно. Но на пятницу — верней будет. Шнурки возьми. На.

Лиза. Шнурки? Зачем?

Скрипка умолкает.

Капустин. В руках будешь держать. И «сапоги» будут их держать. Тоже такие, коричневые. Понятно? Он скажет: «Соловей поет». Понятно?

Лиза. Ага.

Капустин. Условленная примета. Ну, встретитесь здесь. Ты «сапогам» и передашь все городские инструкции. «Сапоги», помни, крестьянские, заплатанные.

Лиза. Лишь бы душа целая. *(Ходит по аллее.)*

Капустин. Ишь ты! *(Хочет уходить.)*

В это время появляется Малинова.

Малинова. Одну минуту, старик... Гуталин есть?

Капустин. Своя коробка, для работы. Больше нет. Вам почистить?

Малинова. Нет, не мне. Надо будет сыну почистить. Сыну моему. Ну, я его к вам приведу — вы ему почистите. Я его одену во все чистое — голубую рубашку выглажу, к парикмахеру сведу.

Капустин *(хмуро)*. Из города уведите его. Слышите!

Малинова. Вы мне это второй раз говорите. Почему? Помните, однажды музыку Сани слушали и это самое сказали?

Капустин *(ворчливо)*. Почему, почему... Бежать вам надо будет с ребенком.

Малинова *(горестно)*. Куда? Иго, всюду змеиное иго, старик. Мне бы только передохнуть немного от горя, а там видно будет. Так и не засну я, наверно, до четверга... Господи, в четверг он уже будет со мной!.. А мне страшно, два месяца по-особенному страшно... вверх на деревья не гляжу, голову не подымаю. Не могу, не в силах...

Капустин. Чего так?

Малинова *(тихо)*. Все кажется... на этом, на том ли? И срубить хочется в ярости. В щепы срубить! Или — припасть... обнять, каждую ветку по листику перецеловать... Вот закрою глаза — и такое сумасшедше-страшное привидится, такое!.. *(В изнеможении опускается на скамью.)*

Капустин *(глухо)*. Вот они что с вами сделали... Растоптали человека. Ну... скоро конец.

Малинова. Да, скоро конец... Спасибо вам за участие, добрый вы человек. Погодите. Гуталину нет значит... А шнурки? Новенькие шнурки я ему вдену в башмаки. Дайте мне. *(Расплачивается.)* Каждый день я ношу ему еду. Мне возвращают миску и ложку, и дома я целую эти предметы: ведь над ними дышал только что, к ним прикасался только что мой любимый, дорогой мой ребенок! Мы одни с ним.

Капустин. Муж где?

Малинова. Муж? Там. Где собирается сила, русская сила, чтобы освободить всех нас. Где точно теперь — не знаю... ничего не знаю, где Василий.

Капустин. Давно?

Малинова. Что давно?

Капустин. Разлучились?

Малинова. Перед самым приходом немцев: больше трех месяцев уже. *(После короткой паузы.)* Он свою жизнь дешево не отдаст — в том я уверена. *(Неожиданно подозрительно.)* Почему вы меня расспрашиваете? Зачем?

Капустин. Подумал я... Что-то в голову мне пришло...

Малинова. Что? Что пришло?

Капустин. Вы не пугайтесь. Не бойтесь вы меня. *(Мягко.)* Ну, не надо. Не будете?

Малинова. Простите вы меня... Тот, кого укусила змея, боится потом и простой валяющейся веревки.

Капустин *(тихо, взволнованно)*. Если что — уберегите сына... Чтоб никогда он не прощал, никогда. И чтобы дети его никогда не прощали все то, что мы пережили от этого врага... что сам ваш мальчик перенес... Расскажите ему, как один русский отец, простой и тихий человек, смотрел на смерть двоих своих девочек. Как лежали они, связанные рядышком, на опоганенной Гитлером русской крестьянской земле... и много парней и девушек лежали там рядышком с этими девочками. Это десятками молодых жизней палачи вымостили дорогу для своего танка. «Где партизаны?»,— надрывался фашист. Молчали все: родители молчали, дети на земле молчали. Понятно? И тогда загудел танк... Да закройте, закройте глаза, чтобы не видеть... И хрустнула наша земля... Земля в крови. Забуду ли? Та минута принесла мне старость. Но пусть старость моя обманет врага, поможет друзьям... Так я сказал Василию.

Малинова. Кому?

Капустин. Вашему Василию—партизану, что стоял в толпе: Видал я, как сунул он руку в карман — за гранатой. Видал, как ослепила ему ярость глаза, ум, сердце, и схватил я его за руку: «Подожди, возьмем за все больше злых жизней,— сказал я ему.— В залог той святой мести отдаю тут две своих молодых души...» *(Пауза.)* Если что — уберегите сына своего, Анна Степановна... *(Уходит по аллее.)*

Малинова. Старик! Родной... Одну минуту!

Капустин *(оборачиваясь)*. Не мешайте нам чувством своим. *(Уходит.)*

Малинова *(одна)*. Что он сказал? Что сказал? *(Короткая пауза.)* Я знаю, что сказал этот отец. Знаю... Пусть пролитая кровь детей, сказал он, спасет нас от малодушия и усталости, отнимет боль наших ран, даст силу возмездию. Пусть...

Звук скрипки.

Саня, мальчик мой... *(Слушает.)* Мальчик... ты выбрал шаловливую... веселую. Ты тоже думаешь о встрече... о своей исстрадавшейся матери. *(Слушает музыку.)*

Диктор *(с заметным немецким акцентом)*. Слушайте население, извещение городской комендатуры германской армии. Слушайте, население, извещение городской комендатуры германской армии.

Малинова. Боже!..

Диктор. Параграф первый. Население не выполнило приказ сдать назначенное количество молочных продуктов, а также

яйца и курятину. Приказывается населению сдать это через одни сутки, внести за промедление дополнительную норму штрафом двадцать процентов. Параграф второй. В связи с наступившим летним временем и долгим солнечным освещением разрешается населению пребывать вне своих домов на 45 минут больше установленного времени, после чего каждый не подчинившийся может быть застрелен патрульными германской комендатуры.

Малинова. Щедрость какая! Сволочи!..

Скрипка неожиданно умолкла.

Что случилось? Саня оборвал...

Диктор. Параграф третий и последний извещения от этого числа. Население ведет себя покорно, без препятствий в городе новому порядку. Комендатура объясняет это прояснением в мозгах населения и правильным выбором комендатурой заложников, взятых без трех дней два месяца назад. Для укрепления такого состояния в городе комендатура объявляет населению о продлении срока для заложников еще на два месяца.

Малинова. Саня... Санечка!

Диктор. Цюрлих, комендант города. *(Умолкает.)*

Малинова. Он узнал, узнал, что лишили надежды... Санечка!

Из глубины аллеи медленно приближается неизвестный в заплатанных, но начищенных сапогах. В руке у него коричневые шнурки. Он подходит к скамье Малиновой, садится рядом, на кончик скамьи, искоса поглядывая на молчащую женщину, в чьих руках такие же, как у него шнурки. Вновь звуки скрипки: грустные теперь, тревожные, сбивающиеся.

Неизвестный. Соловей поет.

Малинова. Да, соловей поет... Раненый — слышите? Это волк, Цюрлих, приказал петь сейчас соловью...

Неизвестный. Убьем волка. Что сказали наши: когда бить? В пятницу или в среду? Говори скорей: мне ведь не тут ночевать — двадцать километров итти. На, возьми шнурки. Знак какой дают?

Малинова *(догадавшись вдруг)*. В среду! В среду, сказали! Так и скажи!

Неизвестный. Так и скажу. А то старик Капустин сомневался, что в среду. Из-за мальчика одного, из-за женщины... Щадил! Может быть, говорит, в пятницу? У них, говорит, день посередине самый нежный...

Малинова *(преображаясь)*. Нет, не надо, друзья! Не щадите. Теперь — не щадите! Силой отвечать будем на силу. Минутой на минуту... чтобы возмездие наше не опоздало. Да.

подымайтесь, всюду подымайтесь. Это говорю я, мать! Ответим ненавистью на злодеяния... Сын мой, мой мальчик дорогой, соловей мой, воин!.. Мы отобьем тебя, пленник, у зверя. А если суждено, мы вместе пойдем на смерть во имя нашей жизни! В России соловьи поют теперь об отмщеньи!..

ЗАНАВЕС

О. Литовский

РУССКАЯ ДУША

(Драматический этюд)

Изба. Дверь, окно. Посреди избы стол. За столом сидит немецкий офицер-эсэсовец — Адольф Шредер. Перед ним стоит тщедушный мужичонка — Трофим. На Трофиме изодранная одежда, на лбу и на груди запекшаяся кровь — следы «допроса». Шредер тяжело дышит. Он явно устал от этого «допроса». Немного поодаль сидит прыщеватый немецкий лейтенант в пенсне. Это — фон-Кольманн.

Шредер *(задыхаясь от ярости)*. Ты... русский собак. Сволочь! Или ты будешь сказал или ты есть повешен за шею Моментально!

Трофим *(покорно и равнодушно)*. А чего говорить, коли нечего говорить? Хошь верь, хошь не верь. Мужики мы.

Шредер *(вскочил и замахнулся)*. О, негодяй!

Кольманн. Эйн момент, Адольф. Я сам его буду допрашивать. Я жил в России и знаю русскую душу. Я даже читал Достоевского. Они все, как это... *(Подыскивая выражение.)* зогенанте... богоносители.

Шредер *(усмехнулся и встал)*. Битте... герр Достоевский.

Кольманн сел, протер пенсне, ласково улыбнулся и приветливо махнул рукой Трофиму.

Кольманн. Садись... мужичок... Трофим...

Трофим. Покорно благодарим, ваше благородие. Мы и постоять можем.

Кольманн. Ну, ну, какой церемонии. Садись. Ты есть партизан?

Трофим. Мужики мы...

Кольманн. Ай-ай-ай... Как нехорошо. Нихт гут. Какой врун. *(Подняв палец.)* Бог накажет.

Трофим *(покорно соглашаясь)*. Это уж, как есть бог, он все видит.

Кольманн. Зо! Он видит, что ты говоришь неправда. Креста на тебе нет. Нехорошо!

Трофим. Это точно. Чего уж тут хорошего.

Кольманн Ты должен понимать — неправильно воевать сзади. Это разбойство. Поскольку мы вас завоевали.

Трофим. Господи! Да разве мы не понимаем? Как есть завоевали.

Кольманн. Ага! *(Торжествующе посмотрел на Шредера, тот пожал плечами и пошел к выходу.)*

Шредер. Когда нужно будет эту русскую душу хорошенько встряхнуть, вы меня позовете. *(Проходя мимо Трофима.)* Грязная свинья... *(Вышел.)*

Кольманн. Мы есть ваши освободители от... от... кровавого ига политруков.

Трофим. Чего эта?

Кольманн. Ну, ну, не валяйт дурака. Одер я тебе дам в морда. Не надо меня раздражать.

Трофим. Зря сбижаете, ваше благородие. Какой из меня партизан, сами посудите? Я и ружья не подниму. Грудь у меня слабая...

Кольманн. Хорошо. Ты не есть партизан. Я верил. Тогда ты говори, где Дедушка...

Трофим. Эва чего вспомнили! У меня дедушка, почитай, лет двадцать, как преставился...

Кольманн. Кому представился?

Трофим. Богу душу отдал.

Кольманн. Абер ты суть большой сукин зон. Дедушка есть командир партизанский отряд. Не притворяйся! Говори! В противоположном случае тебе будет худой конец.

Трофим. Ах, вот вы о чем, ваше благородие! А мне невдомек... Дедушка, дедушка, а что такое, неизвестно... Это который Дедушка у вас третьего дня обоз отбил?

Кольманн. Ну, ты! Без подробность...

Трофим *(хлопнул себя по ляжкам)*. До чего ловок, чертяка... средь бела дня...

Кольманн. Знаешь, где Дедушка?

Трофим. А как же, милый, его, почитай, вся округа знает.

Кольманн. Он разбойник...

Трофим. Это уж как есть... Ах, разбойник, среди бела дня такой обоз...

Кольманн *(стукнул кулаком по столу)*. Дофольно! Ты поведешь нас к Дедушке. Срочно! Шнелль! Или...

Трофим. Как же это? Да где же я его найду?

Кольманн *(вынул из кармана золотые часы)*. Теперь пять и пятьдесят пять минут. Шесть часов, ум зекс ур — через пять минута ты поведешь наши зольдатен на лес к Дедушке. И этих... активистов... также.

Трофим *(любуясь часами Кольманна. Вздохнув).* Часики у вас больно хороши, ваше благородие. А они верно ходят?

Кольманн. Думкопф! Дурак! Пунктам. Мозер, Таковые часы ты можешь получать — поведи нас к Дедушке. Партизаны это есть неправильно. *(Вынул револьвер, положил на стол.)* Пять минут! Через пять минут я буду стрелять.

Трофим. Это что же выходит, мне вроде вашим шпиеном сделаться?

Кольманн. Ну, зашем такой слов...

Трофим. Умирать-то больно неохота... *(Подумал, колеблясь.)* Ладно, поведу. И активистов покажу. А что мне за это будет, окромя часов?

Кольманн *(обрадованно).* О-о! Ты будешь староста и получишь один целковый на водка. *(Самодовольно.)* О, я знаю русская душа.

Трофим. Это точно. *(Размышляет вслух.)* Выходит — часики — раз, староста — два, рупь-целковый — три... *(Почесал затылок, все еще колеблясь.)* Маловато...

Кольманн *(вскочил в бешенстве).* Эй, ты! Кончаль шутки! *(Направил на Трофима револьвер.)* Считаю — айн, цвай...

Трофим *(испуганно).* Погодите, погодите, не стреляйте ваше благородие. Я все скажу... покажу...

Трофим смотрит в окно. В нем появился партизан, Кольманн не видит его.

Так тебе Дедушку?

Кольманн *(задыхаясь от бешенства).* Ты... мерзавец...

Трофим. Бери: Вот он — я Дедушка.

Кольманн *(оторопело).* Какая... дедушка?

Трофим. Ну, чего зенки вылупил? Отдавай пистолет. *(Ловким движением вырывает у оторопелого офицера револьвер.)* И выметайся из-за стола. Теперь я тебя допрашивать буду.

Кольманн. Это... это... обманство. *(Бежит к дверям.)* Эй, сюда...

Трофим *(направив на Кольманна револьвер).* Ну, чего кричишь, ваше благородие? Ручки... ручки... Хенда-то вверх! *(Кольманн поднял руки.)* Вот так-то лучше...

Партизан вводит Шредера.

Кольманн. Шредер?

Шредер *(зло).* Да, это я, господин лейтенант. У русских очень загадочная душа, господин лейтенант.

Трофим. Ну, что ты будешь делать? Опять недовольны. То воюем не по правилам, то душа нехороша. А мы без об-

мана. Актив обещал показать? *(Показывая на партизана.)* Вот он, актив, сам сюда пожаловал. Дедушку обещал выдать? Вот он, я — Дедушка. Мы без обмана.

Кольманн *(схватился за голову)*. Шреклих!

Партизан. Это, действительно, что шреклих. Что с ими делать-то, Трофим Иванович?

Кольманн *(приосанившись)*. Но я надеюсь, как офицер, как военный, по правилам войны...

Трофим. А как же... Веди господ офицеров, Василий Петрович, и гляди, чтобы их... там... по всем правилам... А чтсики, ваше благородие, действительно хороши. Аккурат в шесть, поскольку я задержался, ребята сюда пришли...

Кольманн. О, о! Я... думкопф! Идиот!

Партизан. Ишь ты! Тоже самокритика. Ну, пошли, господа каратели... Битта шпацирен...

ЗАНАВЕС

Н. Венкстерн

КУСОК МЯСА

Маленькая кухня. Жервеза у очага колет лучину. Входит Клэр.

Жервеза *(быстро пряча нож под лучину)*. Ох, ты испугала меня. Я думала, это он.

Клэр. Жервеза! Умоляю. Что-нибудь... ну, хоть кусочек хлеба. Ты что-то готовишь.

Жервеза. Я варю лук.

Клэр. Лук! *(Изнеможенно опускается на стул.)* Он умрет, умрет... Деточка моя родная...

Жервеза. Ему хуже?

Клэр. Он стал тихий совсем. Жервеза, за что? Кому я делала зло? Я была самая веселая в городе и самая счастливая жена. Кому нужно, чтобы я и мой сын умерли с голода. Я схожу с ума... мне кажется, что здесь пахнет жареным мясом.

Жервеза. Пахнет. Это его обед готовится на плите.

Клэр. Жервеза! Что он за человек?

Жервеза. Человек? Он!

Клэр. Ах, Жервеза! У него тоже есть сердце. Ребенок умирает...

Жервеза. Клэр! Этого ты не сделаешь. Ты француженка.

Клэр. Я не француженка — я мать.

Жервеза. Я тоже мать, моих сыновей убили под Амьеном.

Клэр. Они счастливы. Они мертвы.

Жервеза. Они не мертвы. *(Указывая на сердце.)* Они здесь. А я должна мстить.

Клэр. Мстить? Этими худыми руками. Твоя голова трясется от горя. Тупой кухонный нож и тот ты должна прятать.

Жервеза. Мы выждем время.

Клэр. А наши маленькие умрут! А мы превратимся в седых старух! Ах, Жервеза! Как я люблю жизнь, прекрасную жизнь с солнцем и синим небом. Как я любила песни; мы ходили с Жаком гулять по лугам. Он ростом был ниже цветов. И я пела ему:

Солнце сияет над Луарой,
Видишь, под старой сосной.
Милый, уютный и старый,
Дом наш ютится родной...

Дай мне яда!

Жервеза. Перестань, Клэр! Надо петь другие песни.

Клэр. Ах, какие песни!

Жервеза. Я знаю одну... *(Вполголоса поет.)*

Хороша страна моя родная...

Клэр *(хватает Жервезу за руку)*. Что ты! Могут услышать!

Жервеза. Об этой стране мы должны помнить... все, все матери умерших детей, лишенные чести и родины.

Клэр. У меня перед глазами только лицо умирающего Жака.

Жервеза. У меня перед глазами много лиц, строгих, сильных, неустрашимых... над ними сияет красная звезда! Матери их у станков, невесты и сестры собирают хлеб на полях, золотые снопы для голодных, для маленьких, умирающих Жаков, потому что они и нас накормят, говорю тебе. Полумертвая от горя, хочу дожить до часа их победы.

Клэр. Но сейчас... что я скажу ему сейчас?

Жервеза. Я постараюсь помочь тебе, бедная моя, маленькая, слабая девочка, беспечная, веселая Клэр! Мне жалко тебя.

Клэр. Он такой маленький...

Жервеза. На сегодняшний день мы что-нибудь придумаем. Ну, подбодрись! Сиди и жди меня. *(В дверях.)* Если придет он, постарайся не попадаться ему на глаза. *(Выходит.)*

Клэр *(одна)*. Ах, этот запах! *(Сначала колеблется, затем подходит к плите, на которой стоит кастрюля.)* Горячее! Принести Жаку кусочек мяса. Жак! Ты хочешь кушать, мой маленький! Кусочек мяса, а? Да, да, с картошкой, любимая моя прелесть, маленький кусочек! Вовсе не маленький, а очень боль-

шой ангел мой... Такой же большой, как твоя бедная, милая головка, когда у тебя были полные, розовые щечки. *(Плачет и смеется одновременно.)* Нет, моя крошка, мама тебя не обманывает — вот мы выложим его на тарелку. *(Хватает себя за голову.)* Боже! Я схожу с ума! Я не могу дать умереть с голоду своему сыну. *(Приподнимает крышку кастрюли.)*

На пороге появляется лейтенант Гут. Клэр роняет крышку кастрюли.

Гут. А! Новое личико в этом мрачном доме. И очень хорошенькое личико. Как вас зовут, детка?

Клэр. Клэр, господин лейтенант...

Гут. Вы девица или дама?

Клэр. Вдова, господин лейтенант.

Гут. Вдовушка?! Немецкие офицеры любят вдовушек и стараются, чтобы их было побольше во Франции. *(Хохочет.)* Вы, кажется, интересовались моим завтраком, птичка?

Клэр. Клянусь вам, что я и пальцем не притронулась...

Гут. Проверим, проверим! Подайте-ка на стол кастрюлю. У меня пропадает аппетит, когда я сам себя обслуживаю. Скатерть! Хлеб! Отлично. Только почему у вас дрожат руки? Боитесь меня? Такого добряка?

Клэр. Господин лейтенант! Руки у меня дрожат потому, что...

Гут. Потому что вы голодны? Я сразу догадался, но это поправимо, тут нет большой беды.

Клэр. Если бы я одна голодала, но у меня есть сын, маленький мальчик...

Гут. И ребенок вдобавок! Ужасно. Сердце кровью обливается. *(Поднимает крышку кастрюли.)* Мяса было шесть кусков — раз, два, три, четыре, пять, шесть — все целы. Это делает вам честь. Голодный человек легко становится вором. *(Ест.)* Между прочим, имейте в виду, что за воровство мы расстреливаем. Мы расстреляли бы вас и заодно старуху Жервезу, как сообщницу. Ну, бледнеть нечего, это только предположение. Садитесь и занимайте меня разговором. Вы мне еще не сказали, где же убили вашего мужа?

Клэр. Он умер до войны, господин лейтенант!

Гут. И хорошо сделал, не так ли? Мясо жестковато.

Клэр. Очень прошу вас отпустите меня, господин лейтенант.

Гут. А кусочек мяса для мальчика вас не привлекает?

Клэр. Боже мой! Вы хотите дать мальчику мяса?

Гут. Конечно. Тут шесть больших кусков — возможно, что что-нибудь и останется.

Клэр. Маленький кусочек так бы поддержал его.

Гут. Верно! Отложим уже заранее три кусочка для сына такой хорошенькой вдовушки.

Клэр. Я уверена, что у вас у самого есть дети.

Гут. Потомство. Я называю их не детьми, а волчатами. Из них вырастут большие, сильные волки, вроде меня. Что вы на это скажете, красная шапочка?

Клэр. Я вижу, что вы добрей, чем хотите казаться.

Гут. Говорю вам, что я добряк; отложим ему и картошки, а? Он любит картошку?

Клэр. Голодные все любят, господин лейтенант.

Гут. Верное замечание! В Бельгии, например, вместо мяса кушают траву, а в Греции — морской песок. *(Хохочет.)* Вы не пробовали кормить своего мальчика песком, моя прелесть?

Клэр. О! Зачем вы так шутите? Люди на земле так страдают.

Гут. Люди — забудьте раз навсегда это дурацкое слово. Людей нет, есть рабы и победители. Понятно?

Клэр. Да, господин лейтенант.

Гут. Отлично! Имейте в виду, что противоречия усиливают аппетит, а это невыгодно для вашего сына. Ну! А теперь поговорим с вами о политике.

Клэр. Я так мало понимаю в этом, господин лейтенант...

Гут. Что вы, например, думаете о войне?

Клэр. Я бы хотела, чтобы она скорее кончилась.

Гут. То-есть, чтобы мы заняли Москву, Ленинград, Урал, Волгу и уничтожили проклятых большевиков, да?

Клэр. Я не могу судить о таких важных вещах, господин лейтенант.

Гут *(ударив по столу кулаком)*. Что? Вы сомневаетесь в нашей победе над этой гнусной страной со всеми ее свободами для чернорабочей швали?

Клэр *(опустив голову)*. Вы сильны, господин лейтенант.

Гут. Ага! По-другому запели. Лишаю вашего сына одного куска мяса в наказание за вашу глупость. Оставляю ему два куска за то, что у его матери красивые, хоть и глупые глаза.

Хочет погладить Клэр по щеке. Клэр отстраняется.

Что? Отвертываться! Когда я хочу оказать ласку жалкой французской нищенке?

Клэр. О! Господин лейтенант!

Гут. Ладно, ладно! Прощаю! Прибегну к отеческому наказанию и лишаю вашего сына еще одного куска мяса. Да, зачем в сущности оставаться на свете этим вашим сыновьям с изможденными рожами. К чорту! Делаю исключение для вашего сына потому, что таков мой каприз. Пусть поживет еще недели две...

три! Три! Опять бледнеете. Посмотрите, отличный кусок мяса для малыша, да еще картошки. Он у вас лопнет, моя милая.

Клэр. Если уж вы так добры, разрешите отнести это сейчас моему сыну.

Гут. А кто мне нальет вина? Вот вино на полке. Две рюмки, две. Я угощаю.

Клэр. Господин лейтенант! Вино на голодный желудок...

Гут. Опьянеете — тем лучше! Французские женщины нужны только для пьянства и разврата. Французских мужчин мы уничтожили, а француженок распределили по веселым местам. И вас я не забуду, маленькая Клэр. Ну, отчего вы не улыбаетесь?

Клэр *(сдерживая дрожь)*. Я слушаю вас!

Гут. Пей, душка! Ах, чорт возьми! Чем же закусывать? Я полагаю, что половины этого мяса твоему парню за глаза довольно. А? Ну, пей!

Клэр. Пью, господин лейтенант! *(Незаметно выплескивает вино через плечо.)*

Гут. Молодец! Таковы и должны быть женщины порабощенной страны. Они должны обожать своих хозяев, как собаки. И греки будут нас обожать, и сербы, и чехи.

Клэр. А русские, господин лейтенант?

Гут. Как ты смеешь говорить о них? Как тебе приходит на язык это скверное слово.

Клэр. Я скажу по-другому, господин лейтенант,— советские люди.

Гут. Вот оно что? Рассуждения о политике? За слова «советские люди» твой сын лишается последнего куска мяса. *(Съедает мясо.)* Что? Довольна? Хватит с него картошки.

Клэр. Ешьте и ее, лейтенант. Этим все равно кончится.

Гут *(хохочет)*. Так ты догадалась, что это была только шутка.

Клэр. Догадалась, лейтенант, догадалась, что фашист не может быть человеком.

Гут *(поднимаясь из-за стола)*. А ну-ка, повтори, что ты сказала?

Клэр. Повторю: ты — зверь, волк, да, волк!

Гут *(грозно)*. Волки перегрызают горло людям.

Клэр. А люди убивают волков.

Гут *(заложив руки в карманы)*. Тебя расстреляют сегодня вечером, моя детечка, а твой щенок будет мне чистить сапоги, пока не издохнет.

Клэр. Не боюсь. Бойся ты!

Гут. А чего, например?

Клэр. Мести, мести, мести!

Гут. Однако ты показываешь зубы перед смертью.

Клэр. Думай о своей смерти.

Гут. Это становится забавным. Какая муха тебя укусила, несчастная дура?

Клэр. Да, дура, глупая девчонка, которая ничего не видела, кроме своего горя. Теперь кончено! Все увидела, все поняла! Долой фашизм, убийц, истязателей!

Гут *(вынимая револьвер)*. Не извивайся. Ты мешаешь мне прицелиться.

Клэр. Убивай, дьявол, убивай, кровавый пес, мы будем отомщены, будем, будем!

Гут. Довольно орать. Перед смертью и ты услышишь маленькую речь.

Клэр, внезапно заметив нож под лучиной, не спускает с него глаз.

Кричать вы можете сколько угодно и извиваться тоже, сила — наша. И вы будете ползать у наших ног. Твой щенок поползет сегодня же. За остаток картофеля он около твоего трупа будет целовать мои руки и кричать «Хайль Гитлер!»

Клэр с быстротой молнии хватает нож, бросается к Гуту и закалывает его.

На помощь, люди, на помощь!

Клэр *(нанося ему раны)*. Умри, умри, умри! Вот тебе за сына, за меня, за людей, за боль.

Гут умирает.

Клэр *(растерянно озираясь)*. Я не боюсь... вот... я не жалею. Берите меня, убивайте.

Входит Жервеза.

Жервеза, я убила лейтенанта.

Жервеза. Клэр!

Клэр. Жизни пришел конец. Жак, Жак! Зови людей! Жервеза, ты спасешь себя.

Жервеза. Спасать себя? Идем за Жаком.

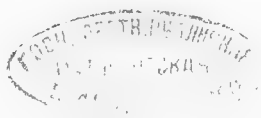
Клэр. Зачем? Куда бежать?

Жервеза. В лес. В болото. В пустые сараи, под открытое небо. На борьбу.

Клэр. Жервеза!

Жервеза. Пусть преследуют нас фашисты и наше продажное правительство — французский народ продолжает борьбу.

Клэр. До последнего вздоха! До победы!



СОДЕРЖАНИЕ

Слова *М. Голодного*, музыка *А. Александрова* — Песня о Советском Союзе 4
Джамбул — Советский союз 9
Валерий Брюсов — Серп и молот 11
Николай Тихонов. — Советский флаг 11
Валерий Брюсов — Ленин 12
Владимир Маяковский — Владимир Ильич 13
Исполин веков, перевод с таджикского 14
Максим Рыльский — Ленин 14
Два сокола 15
Микола Бажан — Товарищ стоит в звездоносном Кремле 16
Слова *М. Рыльского*, музыка *Л. Ревуцкого* — Песня о Сталине. . 17
М. Горький — Песня о буревестнике 19
М. Горький — Песня о соколе 20
Демьян Бедный — Манифест барона фон Врангеля 22
Валерий Брюсов — Работа 24
Владимир Маяковский — Последняя страничка гражданской войны 25
Ник. Асеев — С неба полуденного 26
Владимир Маяковский — Десятилетняя песня 27
Слова *Ник. Асеева*, музыка *А. Давиденко* — Первая конная . . . 29
А. Фадеев. — Трясина (Отрывок из романа «Разгром») 31
Слова *С. Алымова*, музыка *Атурова* и *Александрова* — По долинам и по взгорьям 35
Николай Островский — Рожденные бурей (Отрывок из романа) . . 40
Николай Островский — Как закалялась сталь (Отрывок из романа) 44
М. Шолохов — Тихий Дон (Отрывок из романа) 49
А. Толстой — Хлеб (Отрывок из романа). 56
Л. Никулин — Рассказ о жестокости 58
Вас. Лебедев-Кумач — В двадцатом году 61
Сергей Есенин — Спит ковыль Равнина дорогая 62
Сергей Есенин — Низкий дом с голубыми ставнями 62
Сергей Есенин. — Мелколесье. Степь и дали 63
Владимир Маяковский — Прозаседавшиеся. 64
Леонид Ленч — Праздник в Малаевке 66
Слова *Вас. Лебедев-Кумача*, музыка *И. Дунаевского*—Песня о родине 69
С. Маршак — Двадцатилетний 73
Виктор Гусев — Гордость страны 76
С. Михалков — Светлана 78
Слова *Виктора Гусева*, музыка *Льва Книппера* — Полюшко-поле . 79
Виктор Гусев — Монолог матери (из пьесы «Слава») 85
С. Михалков — Дорога 86
М. Тевелев — Лекарство 88
Слова *М. Рудермана*, музыка *К. Листова* — Песня о тачанке . . 92
Николай Хорьков — Вымпел 97
Слова *Я. Шведова*, музыка *В. Белого* — Орленок 103
Г. Рыклин — Ну и молодежь 111

Слова *М. Исаковского*, музыка *Вл. Захарова* — И кто его знает . . 115
К. Паустовский — Музыка Верди 120
Слова *В. Лебедева-Кумача*, музыка *А. Александрова* — Священная война 126
Николай Тихонов — Красная Армия 128
Николай Тихонов — Три кубка 129
Ванда Василевская — Партбилет 130
Николай Тихонов — Ленинское знамя 134
Алексей Сурков — Полководец 135
Степан Щипачев — О Москве 136
С. Михалков — Сталин 136
М. Светлов — Когда умирают гвардейцы 137
Анна Ахматова — Мужество 138
Алексей Сурков — Таня 139
Ю. Крюков — Знамя 140
Валентин Катаев — Флаг 141
Слова *И. Френкеля*, музыка *В. Белого* — Песня о пяти моряках . 146
М. Тевелев — Последний катер 150
Леонид Соболев — Соловей 154
М. Шолохов — На юге (Отрывок) 157
Алексей Сурков — Возвращение 160
Сергей Васильев — Русская мать 161
Слова *Е. Долматовского*, музыка *М. Фрадкина* — Песня о Днепре . 164
Александр Прокофьев — Сталинград 166
Демьян Бедный — Перед миром засверкал 167
Алексей Сурков — Песня гвардейской пехоты 168
Илья Эренбург — Как воюет Россия 170
М. Исаковский — Крутится, вертится шар голубой 171
Виктор Гусев — Мать и сын 172
Маргарита Алигер — Весна в Ленинграде 174
Владимир Лифшиц — Ленинградцы 176
Вера Инбер — Год 177
Елена Кононенко — Жена 181
Илья Эренбург — Июнь (Отрывок) 185
Слова *Л. Довидовича*, музыка *В. Седого* — Играй, мой баян . . 188
Леонид Соболев — Парикмахер Леонард 191
А. Твардовский — Василий Теркин (Отрывок из поэмы) 193
К. Мурзиди — Урал 200
М. Шелоков — Бойцу у мартена 201
Леонид Ленч — Каша 202
Вл. Дыховичный — Шел артист на фронт 205
М. Исаковский — Поросята 210
С. Маршак — Джаз-банда 212
Михаил Казаков — Соловей поет 214
О. Литовский — Русская душа 222
Н. Венкстерн — Кусок мяса 225

Редактор М. Горячкина

Обложка и титул художника *А. Сурикова*

Л23450 от 31/III 1943 г. „Искусство" № 2652. Печ. л. 14½. Уч.-изд. л. 12,78. Тираж 3000
В 1 п. л. 35.000 зн. Зак. 1549. *Цена 12 руб.*

Тип. „Красный печатник" Гос. изд-ва „Искусство", Москва, ул. 25 Октября, 5.

SVK-43482

12 руб.

5362